

ТАДЕУШ ЖИХЕВИЧ
ИОСАФАТ КУНЦЕВИЧ

1. Ребенок Кунцевичей появился на свет Божий во Владимире-Волынском над Западным Бугом. Известно, что никто не выбирает себе ни времени, ни места рождения. Но обстоятельства рождения нередко оказывают влияние на будущую жизнь человека – так было и в этот раз.

Владимир – древний город, расположенный на пересечении разных культур и народов. Основанный он был киевским князем Владимиром, крестителем Руси, и от него получил свое имя. Первое письменное упоминание о городе относится к 988 году. Бурной была его история. Во время татарского нашествия на Европу в XIII веке город был полностью разрушен, но вскоре возродился благодаря галицко-волынским князьям Даниилу и Васильку. Еще дважды Владимир становился жертвой татарских набегов – в 1491 и 1500 годах. На изломе XIII - XIV столетий город Владимир – столица княжества – достиг вершины своего величия. Затем нахлынула волна литовских завоевателей, и, в конце концов, город вошел в состав польско-литовского государства.

Еще в XIV столетии Владимир был политическим, культурным и торговым центром Волыни. И хотя вскоре наступил некоторый упадок и город уступил место Луцку и Бресту, но, видать, былое величие и слава его не померкли, если даже после разделов Польши австрийский император к своим пышным титулам добавил еще и титул «короля Галиции и Лодомерии». А ведь столько веков прошло со дней величия этой земли!

Особенно важно, что Владимир, как и другие города Червенской земли, был словно огромным тиглем, где встречались народы и культуры. Жили здесь украинцы и поляки, литовцы и белорусы, немцы и итальянцы, греки и евреи. Магдебургское право, господствовавшее в государстве, объединяло горожан: под его эгидой горожане учились согласовывать интересы разных народов и уважать различные их культуры и обычаи. В действительности же, учились значительно большему: широте дыхания. Ведь только евреи жили изолированно в своем квартале. Все остальные, кто как и кто когда, принимали в себя дыхание разных миров: и с запада, и с востока. Образовывался сплав. Сегодня мы не ощущаем всей важности этого процесса и даже не задумываемся, почему на протяжении веков столько чудесных, выдающихся людей, одаренных разнообразнейшими талантами, расцветало именно на этих пограничных землях. В металлургии, встречаясь и смешиваясь при плавлении, разные металлы нередко обогащаются: бронза благороднее меди и олова, брошенных в тигель. Наверное, такие же законы действуют и в обществах, в которых вместе обитают разные народы. Немцам прибавлялось здесь высокого буйства мыслей, русинам и полякам – организованности, порядка и прочности, греки и армяне вносили невероятную живость и ловкость, итальянцы – благоговейное отношение к произведениям искусства, понимание истинной ценности вещей, единственный и достойный смысл которых – красота, поляки – как минимум свою бурную и безрассудную фантазию.

Современное представление о мещанстве не вполне верно. Летописные записи убедительно свидетельствуют, что в то время, о котором мы повествуем, некоторые мещане, особенно в провинции, нередко собирали у себя немало разнообразного оружия – и не только для того, чтобы показывать гостям; книжек и произведений искусств у них также было значительно больше, чем у обычных шляхтичей, да и пристрастие к науке имели они большее. А каждодневно встречаясь с особенностями культуры других народов-соседей и поддерживая дальние торговые связи, не могли замкнуться в тесных рамках национальной культуры своих прадедов.

Во времена короля Казимира IV во Владимире были костелы римской веры, но были и давние православные церкви. Были монастыри католические и монастыри восточной веры: Свято-Юрьевский, Архангела Михаила, Святых Апостолов. И столько разных народов, какое богатство обычаев!

В таком вот плавильном котле разнообразия и рос юный Кунцевич, мещанское дитя.

Был он родным сыном этой земли. В его фамилии только окончание -евич – славянское. Звучание ее может вызвать предположение, что родоначальником Кунцевичей был какой-то Кунтце, средневековый немецкий колонист. Но могло быть и иначе. Вот ведь летопись Нестора упоминает, что в 944 году, когда князь Игорь отправлял послов в Царьград для подписания мирных и торговых соглашений, были в составе посольства скандинавские варяги из княжьей дружины и двора. Среди них Нестор записал и такого, что звался Кунц, Кунци или Куни. Что ж, и град Владимир был давней великокняжьей вотчиной, а скандинавские дружинники киевских князей, наверно, не развеялись как дым и не умерли внезапно бездетными. Растворились среди других. Уже в начале XV ст. в летописях появляется измененная на славянский лад фамилия Кунча, да и сам отец будущего архиепископа полоцкого записывался то как Кунчич, то как Кунцевич. Род рассеялся, кто-то пошел на север, а кто-то на юг: были в Литве Кунцевичи, наделенные гербом «Лебедь», а на Волыни – Кунцевичи с гербом «Белая роза», – оба рода не польского

происхождения. Когда убили полоцкого архиепископа, на портрете, что стоял у его гроба, был изображен герб «Белая роза», что документально засвидетельствовали очевидцы. Возможно, это было сделано лишь ради пышности и придания покойному ореола знатности, поскольку известно, что отец его – Гавриил Кунцевич – был владимирским мещанином и торговал зерном. Шляхтич же мог продавать зерно – и многие шляхтичи ездили со своим товаром в Гданьск, – но быть профессиональным купцом не мог. Интересно, что Кунцич-Кунцевич был еще и городским советником. В Совет избирали либо за богатство и значимость в городе, либо из большого уважения к выдающемуся уму, долгому времени, прожитому семьей в городе, и древности традиций рода. Кунцич-Кунцевич же богатым не был, но стал членом Совета. Физиогномика – вещь обманчивая и ненадежная, опираясь на нее, легко ошибиться: часто грубое, простоватое лицо скрывает живой ум и широчайшие знания, а иногда и славный род; наоборот, не один красавчик может оказаться пустозвоном, да еще и низкого происхождения. А впрочем, архимандрит не панна: не обязан быть красавцем. Но захотелось Господу Богу, чтобы именно этот был как на загляденье. Откуда это известно? Существуют портретные изображения. В 1643 году в связи с беатификационным процессом сеньор Антонио Джерард издал в Риме книгу, в которой на гравюре изображен Иосафат Кунцевич с топором в голове, с епископским посохом восточного вида и с ангелами, держащими пальмовые ветви – знак мученичества – и мирт. Лицом он здесь похож на всех – и ни на кого. Но специалисты утверждают, и могут это убедительно доказать, что существуют, по крайней мере, два портрета, соответствующие действительности. Один происходит из виленской иезуитской коллегии, второй был собственностью Сапегов в Кодне.

Виленские иезуиты, как и Сапегы, состояли в близких отношениях с Кунцевичем. Ни один из этих портретов не является копией другого: и кисть не та, и стиль другой, ибо на сапегинском портрете Кунцевич представлен без священнических убранных и головного убора, а на виленском – в монашеском клобуке и одежде архиепископа. Но на обоих видим очень характерное лицо того же самого человека – возможно, лишь в разном возрасте. И хоть это не так важно, но стоит отметить: не было у него черт плебейских. Лицо продолговатое, смуглое, с довольно высоким лбом, глаза большие, темные и глубокие, а брови – как ласточкино крыло; нос тонкий, уста совсем не монашеские, а руки красивые, как у лютниста.

Эх, Кунцевич, если б тебя, соколик, не постригли... Если б ты, сынок, не пошел в монахи, не нарадовались бы тобой девчата, может быть и мать бы поблагодарили, что таким родила. Ибо, возможно, это от матери пришла к нему такая степная краса, черные волосы и большие глаза, нетипичные для города. Об отце его неизвестно, каким из себя был, о матери – тоже, знаем только, что звали Мариной и, возможно, местная, владимирская, но и это не точно. Так как позже, в письме ко Льву Сапеге, Кунцевич скажет, что есть у него родственники и над Днепром, а между ними и такой, что зовется Григорием Островецким, запорожский казак, но гербовый, из тех шляхетских сынов, что вследствие буйного нрава, а может, и судебного преследования, бежали в Дикое Поле, – много было таких.

Вот каким был тот тигель, в котором иногда черт, а иногда и ангел, смешивали по-разному, но всегда интересно. Да и сам Кунцевич, хотя за саблю не хватался и набожно размышлял о мученичестве за веру, всю жизнь искал на свою голову беду. Да и нашел, в конце концов, раз его зарубили.

И красота Кунцевича тоже имела какое-то значение. Ведь вот владыка Ипатий Потий, воспитанник Краковской Академии, в прошлом кастелян и сенатор, хотя и был мудрым и энергичным, и громко проповедовал как в церкви, так и на сейме, а был толстым, с одутловатым лицом, как большой карп.

Митрополит Вельямин Рутский (ибо происхождением из села Руты) – Божий был человек, честный, доброжелательный и такой добрый, что хоть к ране прикладывай. Этот, напротив, был хрупким и таким сухощавым, что когда надевал тяжелые церковные ризы, то казалось людям, что долго придется искать его в этих пышных одеяниях.

Ну и что? Люди есть люди, для них иногда и вид важен. Нигде так прекрасно не поют, как на Украине, – куда там ученым хорам до этого пения, что как море! И когда пение замолкало, а перед царскими вратами в теплом сиянии свечей, прямой и статный, весь в золоте, стоял Кунцевич с лицом степного архангела, – у людей аж дыхание перехватывало, ибо казался он им живой иконой. А Бог дал ему еще и мудрость, и силу слова. А чтобы дары были уж совсем щедрыми, еще и голос – очень красивый, низкий, теплый, сильный. Когда пел, то казалось, – стены исчезают. Когда говорил – мудро, прямо к сердцу и душе, – захватывал, как в плен. «Несоединенные», а было их потом много, называли его «душехватом», захватчиком душ, считали его исчадием ада и искусителем. И, хотя так называвшие его от всего сердца ненавидели, но даже и в этом прозвище таилось набожное удивление. И правда, что-то в этом было: это человек своей речью и личным общением оказывал почти магнетическое влияние. Когда его не было, сомневались. Когда он был, шли за ним. Даже те, что никаким образом и не взирая ни на что ему не подчинялись, не могли избавиться от чувства уважения. Один из таких сказал ему однажды: «Если бы ты, Кунцевич, был нашим, мы бы желали пить даже ту воду, которой ты моешь ноги». Простоватое было

выражение, преувеличенное и грубое, ибо и человек тот был простолюдином, но не в этом дело. А дело в том, что даже враги удивлялись ему и испытывали к нему чувство близости. Не простыми бывают души даже у простолюдинов.

Прошлое растаяло во мраке. Не знаем точно, когда родился Кунцевич, были ли у него братья и сестры. Наверное, были, поскольку существовал обычай называть старшего сына именем отца, а его крестили не Гавриилом, по имени отца, а Иваном – значит, не был самым старшим. Одни его звали Ивась, другие – Иванко, или еще иначе. Дата его рождения тоже не известна. Последовавший канонизационный процесс принял за год рождения 1584, но более вероятной является дата 1580. Об этом пишет о. Геннадий Хмельницкий, почти одноклассник Кунцевича, ближайший друг и собрат его по василианскому чину, исповедник, свидетель его жизни и смерти, который мог видеть документы, хранившиеся в виленском монастыре Пресвятой Троицы. Рукоположение Кунцевича в иереи состоялось в 1609 году. Существовал церковный обычай посвящать тридцатилетних, и это, возможно, подтверждает, что родился он в 1580 году. Эту дату принял и первый его биограф – Яков Суша, холмский епископ – а позже Николо Континери, Альфонсо Гуепин и польский автор Калинка. Крестили Кунцевича в церкви св. Параскевы-Пятницы во Владимире.

О детстве его и юношеских годах знаем лишь то, о чем говорили под присягой свидетели. Ведь в то время, когда шел процесс, жили еще люди, что помнили его ребенком.

Задумывались, «что же вырастет из этого ребенка Кунцевичей». Был тихим, но вовсе не боязливым, лишь какой-то был «весь погруженный в себя» (сегодня мы бы сказали по-научному – интроверт), сосредоточенный – такой человек все вбирает в себя, но мало отдает, поглощенный какими-то своими мыслями. Умел быть веселым, как искра, но умел и укутаться мглой грусти и будто бы отсутствовать. Казался иногда слишком чувствительным: когда церковь наполнялась пением, на его глаза выступали слезы. Ходил собственными путями, а в церкви его видели не раз и тогда, когда пусто было и он, как невменяемый, стоял перед иконами, словно смотрел в окна другого мира, среди тишины, сумерек и запаха ладана. А когда однажды встал перед иконой Христа и долго смотрел, золотая искра оторвалась от образа и ударила его в самое сердце, до боли. Было ему тогда пять лет. Лишь однажды, с неохотой, рассказал он об этом, но запомнил навсегда. Но и в церкви не пребывал без меры: на улицах познавал он город – весь мир, что кипел у него на глазах. Когда пошел в школу, оказалось, что мальчик очень смекалистый. Павел Чинский признался епископу Мораховскому, что когда маленького Кунцевича отдали в школу, «он больше получал благодаря своим большим способностям, нежели труду». Все как-то само входило ему в голову, хотя и не много этого всего было вначале: в школе учили читать и писать по-украински и по-польски, началам математики – сколько в жизни надо, – а уже остальное изучали в церкви: священные книги, жития святых, псалмы, Литургия. Школа была обычная, городская. Только в 1597 году, когда Кунцевича уже не было во Владимире, униатский владыка Ипатий Потий основал школу с очень хорошей программой обучения, включавшей греческий и латынь, и даже «свободные искусства»; но Кунцевич не успел побывать ее учеником. Среди прочего отмечали, что был у него талант к рисованию, мальчик пытался постигнуть тайны иконописцев и украдкой дома пытался сам писать иконы, о чем свидетельствовал в своих показаниях советник Шомаха, прибавляя при этом, что юноша досконально знал Библию.

Письменные свидетельства той эпохи, особенно те, что собирались для составления жития, не могли избежать набожной идеализации. Но бывают дела, которые не удастся украсить бумажными цветочками, а преувеличить их невозможно. Так и здесь. Полвека спустя, когда пришлось свидетельствовать о Кунцевиче, владимирские старики, вспоминая его, говорили: «честный ребенок», или «прожил свои детские года очень честно». Определение это немного неожиданное, ибо «честный» значило «справедливый, благосклонный к людям, правдолюб; человек, заслуживающий уважения»; таким мог быть разве что взрослый человек, занимающий какое-нибудь положение. Ребенок мог обладать многими хорошими чертами, характерными для своего возраста, быть добрым, милым и послушным, но какая же особая «честность» у ребенка или у отрока? Но именно так и говорили: «честный ребенок».

2. В 1596 году начался новый период в жизни шестнадцатилетнего юноши: возвращаясь из Волыни, виленский купец Якинт Попович взял с собой сына своего владимирского товарища. Минувя подляшские бездорожья и полесские болота, двинулись они в Брест и Варшаву, поскольку там были у Поповича купеческие дела, а потом через Гродно в Вильно. Попович был человеком обеспеченным, но бездетным; смысленный юноша понравился ему. Посоветовавшись, они решили, что тот будет учиться у него купеческому ремеслу, а если окажется старательным и способным, тогда откроется перед ним хорошая дорога, ибо Вильно – столица великокняжеская.

Кунцевич уезжал из родного города в особое время; он сам еще не знал, что этот год, 1596, будет для него таким важным. Это был год одобрения Унии Руской Церкви с Римской Церковью на Брестском

Синоде. В будущем он отдаст за нее жизнь. А пока что ехал на купеческой телеге красивый молодой юноша, и широко раскрытыми глазами смотрел на мир.

В Вильно он словно бы попал в большой бурлящий котел: кого и чего там только не было! Большие паны и канцелярии, почтовые конторы и дворы, академия, коллегия и школы, латинники и православные, да и еще протестанты всех существующих направлений, – острые углы, которые притуплялись друг о друга. Город был очень красивым и близким его сердцу; готическо-ренессансный, костельно-церковный, впитал в себя самую разнообразную красоту. Был также и городом пограничья: здесь помнили, как еще недавно король Сигизмунд Август свои государственные указы писал по-русински: «Мы Божьей милостью...». Жизнь здесь кипела, а свободы было значительно больше, чем во Владимире. Даже евреи здесь были другими. Говорили, что виленские евреи печатают свои ученые книги в Италии, Германии и Фландрии, но что в них было, никто точно не знал. Только по субботам пение из синагог разносилось эхом до самого неба, а под городскими стенами его передразнивали девушки. Набожному юноше из Владимира иногда казалось, что он попал в Вавилон. Верь во что пожелаешь и как пожелаешь, или не верь. Крестьясь, как того требует обычай, не верь, но молчи. И живи. Но верить же во что-то обязательно надо!

Вскоре оказалось, что не будет с Кунцевичем так, как отец его с Поповичем помышляли. Был послушным, старался таким быть, но при этом становился с каждым днем все больше отсутствующим. Не лежало сердце к купеческому делу, ускользал из рук, исчезал, по углам лавки читал книги или ночами сидел при свече. А потом днем был сонным, или словно в горячке. Старый Попович был добрым человеком: просил, уговаривал, объяснял, убеждал, но бесполезно. В конце концов, в отчаянии даже ударил, но только один раз: у молодого лицо загорелось пламенем, а глаза стали, как у ястреба. Испугался старый и бросил. Но, поскольку, уезжая, дал товарищу слово, старался узнать, в чем дело, что же случилось. Не случилось ничего страшного. То были душевные волнения, но переживал их юноша как-то болезненно и интенсивно. Кунцевич шел за своим владимирским владыкой Потием, который принял Унию вместе с епископами. Но не хотел идти вслепую или мало что понимая. Хотел знать. А умел так мало, знал так мало, почти ничего!

Пошел к иезуиту о. Фабрицию Ковальскому с Ярославщины, который был в то время в Украине профессором риторики, философии и теологии, а также королевским духовником. К Грушевскому, белорусину по происхождению, профессору нравственно-догматического богословия. И тот, и другой – большие ученые. Затем, после 1610 года, и к Петру Аркудису, ректору Греческой коллегии, которого Потий призвал из Рима. Кунцевич не знал латыни и на публичные лекции ходить не мог, но не зря с юных лет был «душехватом», люди тянулись к нему: обратил на себя внимание этих ученых мужей своим поведением, ревностью, жадной жаждой знаний и невероятной смекалкой, так что они, не жалея времени, в частном порядке бесплатно учили его и вели с ним долгие беседы. Профессорские души радуются, когда их слово не падает в пустоту, а разгорается, словно пламя на ветру. Читать ему давали все, что он мог тогда читать с пользой: писания Бенедикта Гербеста, или Петра Скарги: «О единстве Церкви Божией» (книгу, которая в первом издании была посвящена князю Острожскому). Да еще «Защиту Флорентийского Собора» Геннадия Схолария, «Катехизис» Канизия и другие.

А у него, и вправду, голова горела вместе с сердцем. Протестантизм во многих его разновидностях, хотя и такой деятельный, совсем не задел его. Был он слишком субъективным, а Кунцевич хотел иметь надежную почву под ногами, очевидность правды, скалу, а, кроме того, протестантизм казался ему словно бумажным, даже странным в сравнении с родным литургическим благочестием. Протестантские проповедники были учеными и, вероятно, набожными, но один говорил одно, а другой с такой же самоуверенностью – совсем другое, а потому складывалось впечатление, что каждый из них творил для себя Бога и веру на свой вкус. Римское католичество он вскоре научился ценить за порядок, организованность и ученость. И это все? Нет. Потому что, хотя и любо было ему римское знание, что стоит на страже веры иначе, чем на Востоке, важнее для него было почерпнутое из Писания, – то, что даже язычники не решились под Крестом раздирать одежды Христовы, а бросали о них жребий. А тут – большее, чем одежды: живое Тело Иисуса Христа. Не какие-то там современные богословы так твердят, а сам Апостол, свидетель Христов. Кто же тогда те, худшие язычников, что когда-то давно разделили Церковь Божью, а теперь – хотя бы только из лени и безразличия – делают все, чтобы это разделение сохранить и укрепить? Когда Византия разорвала связи с Римом, говорили в оправдание себе о четырех отличиях в вере; сейчас, как слышно, нашли уже семьдесят два. Но не скрыть правды: большой грех и большой соблазн – это разрезание живого Христова Тела. Когда он сказал об этом своим ученым друзьям, прежде, чем успел прочитать похожую мысль, когда указал им на место в Евангелии, где говорилось о бросании жребия об одеждах Спасителя, – глянули на него удивленно и будто бы с уважением: рано сам хочет летать этот птенчик! Большой огонь горит в душе этого юноши!

А может, и преждевременно радовались. Да, Кунцевич пошел за своим владимирским пастырем,

униатом Потием, в первую очередь из послушания, как и многие другие. А теперь уже стало ясно, что единство Церкви является потребностью его души, сердца и разума. Но все еще оставалось недорешенным.

Любил он Церковь. Возненавидел раздор, но при этом родную церковь никогда не мог покинуть. Не смог бы оторваться от нее.

А с Церковью этой творилось неладное. Он вырос на этой земле, видел, что происходит. Преодолевая сопротивление сердца, словно бередя собственные раны, хотел знать. Даже ценой боли.

По церковному уставу митрополита должны были выбирать епископы, а утверждать – король и Цареградский Патриарх; епископов выбирал митрополит. Но с конца XV ст. сам король назначал митрополита и епископов; митрополита должен был позже утвердить Патриарх, а епископов – митрополит. Это согласно праву. В действительности же ни митрополит не заботился о своем утверждении Патриархом, ни епископы – об утверждении митрополитом. Бывало и такое, что некоторых епископов совсем независимо от короля и митрополита назначали представители вельмож; так делали хотя бы князья Глинские на Полесье и Острожские на Волыни. Владыками становились не, как то велел церковный обычай, монахи, известные своей набожностью и ученостью, а случайные миряне, которые считали епископство синекурой. И в Римской Церкви случались протекции, но не могло такого произойти, чтобы кто-то стал епископом без ведома и согласия митрополита и чтобы мирянин без всякой подготовки и без посвящения делался епископом, не имея для этого никаких оснований, кроме панской милости.

Практиковались «экспектативы», т.е. гарантии будущего церковного сана еще при жизни епископа. В середине XVI ст. Иван Борзобогатый-Красинский, который через разгульную жизнь обеднел, купил себе в королевской канцелярии экспектативу на богатое владимирское епископство. Не знал он, что такую же экспектативу купил себе холмский епископ Лазовский, епископство которого не было таким богатым, как владимирское. Когда же в 1565 году умер владимирский епископ, эти двое стали воевать друг с другом. В конце концов, во Владимире остался Лазовский, а Красинскому отдали луцкое епископство, которым он и управлял долгое время, не будучи посвященным. Только под угрозой митрополичьего отлучения он принял посвящение в 1571 году. Но это не помешало ему, разогнать в Дубно василианских монахов: захватил их имущество и разграбил церковные ценности. Вместе с сыновьями напал на Жидычинский монастырь, пролил кровь, епископа Феофана, проживавшего там, выгнал, монастырь ограбил. Закрывал церкви и в самом Луцке. Его противник по владимирскому епископству Лазовский был не лучше: собственное духовенство обвинило его в воровстве, вымогательстве и разбое. Епископам должно быть неженатыми. Но епископы Холмский, Пинский и Перемышльский супротив церковных канонов с женами и детьми сидели на епископстве, а священникам-двоеженцам, которые после смерти своих жен снова, несмотря на право, женились, разрешали служить. Львовская Ставропигия в 1592 г. писала к Цареградскому Патриарху о том, что православный люд на Рим посматривает, не видя другого спасения от распутства и беззакония. Сам владыка львовский Гедеон Балабан получил епископство силой в борьбе с Иваном Лопаткою-Осталовским, а 30 лет его правления – это непрерывная череда бесправия, давления, грабежа и поборов православного люда, церковей и монастырей. Было на нем отлучение патриарха и митрополита, но его это нисколько не волновало. Сокровищницу Унивского монастыря захватил, богослужебную утварь церковную продал евреям, монахов в колодки заковал и под стражей держал в своем имении, чтобы не могли жаловаться и свидетельствовать против него. То же сделал и с имуществом Львовской Ставропигии, хотя она была освобождена из-под власти епископа и подчинялась патриархату. Сам патриарх писал о нем: «сотворил всякое лукавство несправедное и бессовестное». Выражение «балабанские обычаи» употреблялось в народе, когда говорили о чем-то негодном и позорном. Так же и полоцкий архиепископ Симеон продавал за деньги бенефиции, развод давал без каких бы то ни было канонических причин, лишь бы кому-нибудь услужить, так что даже королю Сигизмунду пришлось вмешаться, когда тот, ограбив свою собственную кафедральную церковь, превратил ее почти в руины. Одному вельможе дал развод без всякого на то основания и разрешил жениться на племяннице, что также было оскорблением Бога. Много можно было рассказывать о таких фактах, но больно и стыдно.

Конечно, не все были такими, далеко не все. Но дело в том, что все устройство тогдашней православной церкви было слабым и запущенным, не отвечало церковным канонам, а когда синоды пытались предупредить беду, их постановления оставались мертвой буквой, ибо патроны Церкви – аристократические роды Украины, Беларуси и Литвы – были сильнее расшатанного и нарушенного порядка церковного. Кто же должен был пресечь злоупотребления? Да ведь предшественник униата Рагозы киевский митрополит Онисифор Девочка сам не соблюдал каноны. Православная шляхта обвиняла его, что не заботится о вере и благе Церкви, что нет ей от него спасения, что пренебрегает церковными святынями, закрывает церкви, колокола продает, а в честных «монастырях живут игумены с женами и детьми и церквями святыми владеют». Церковные братства и Ставропигии, созданные с целью

обновления Церкви и получившие от Патриарха освобождение из-под епископской власти, проводили не без протестантских влияний собственную политику, не всегда для Церкви полезную.

У Бога – Свои прямые тропки к душам людским, и над каждым в отдельности – милосердие Господне, поэтому оставалась вера в народе. Но ведь сам Спаситель поставил над своим стадом пастырей, чтобы указывали дорогу, слово Божье проповедовали и не позволяли сбиться с пути. Церкви нужны опоры. Когда они расшатывались, не предвещало это ничего хорошего. Не все в порядке было и с низшим и монашеским духовенством. Была у него большая вера, неизвестно откуда берущаяся, но такая, что о Слове Божьем не знает и проповедовать его не умеет. Конечно же, сын настоятеля рядом с отцом приучался к литургии, – вот и вся наука. До середины XVI ст. не было никаких духовных школ даже среднего уровня; то здесь, то там при церкви или монастыре учили немного читать и писать, а также церковному пению. Иногда ни Молитвы Господней, ни десяти заповедей не знали...

Существовал обычай, что если в какой-нибудь местности была еврейская волость с синагогой, то ее облагали платой за само разрешение совершать религиозные обряды. Но случалось, что православный владелец имения облагал такими же повинностями и церкви собственной веры, иногда даже большими, чем евреев, а настоятели платили, поскольку целиком от него зависели. Не удивительно, что украинская и белорусская шляхта не уважала священников и вела себя с ними, как с подданным «мужицьем», требуя от них исполнения повинностей, от которых духовенство должно было освобождаться.

Первую Академию основал князь Острожский в 1580 году, но она была заражена кальвинизмом. Вскоре церковные братства стали образовывать школы, в которых учителями тоже часто оказывались кальвинисты или лютеране. Сам князь Острожский видел, что творится неладное. Он писал Потю в 1593 году, что Церковь гибнет, ибо устали учителя, устали проповедники Слова Божьего, и проповедей уж нет. Дубович, дерманский архимандрит на Волыни, писал, что много шляхты украинской покидает православную Церковь и идет к вере римской, так как некому людям доверить свою совесть и не от кого научиться науке спасения. Многие духовники не знают даже разрешительной молитвы.

И это было правдой. Сам молодой Кунцевич видел в церквях грешников, которые, не получив ни совета, ни поучения, ни разрешения, для успокоения души били лбом об камень и крестом лежали, несчастные, словно из пропасти взывая о милосердии Божиим; но некому было снять тяжесть с их плеч и вывести их к свету. У Кунцевича волосы на голове поднимались, когда об этом думал, потому что он эту Церковь любил. В большом уничижении была Церковь, а Русь¹ не знала, во что верит. Был Скорина, гусит, белорус из Полоцка, который в Праге печатал кириллицей гуситские книги, а православное духовенство принимало их, думая, что это старинные и добрые книги, а он – свой, православный человек. Большой это грех: обманывать простой народ. Кто же должен был его защищать?

Не иезуиты осуществили Унию, и не король Сигизмунд с канцлером, и не Мацейковский с нунцием, и даже не Скарга. Мало у кого так сердце болело, как у Кунцевича, болело из-за самого разделения и, если бы православная Церковь была другой, не было б Унии. А так – те, кто в епископате, в шляхте, среди набожных людей отдавал себе отчет, что с «русинской верой» творится неладное, кто любил Церковь и чувствовал себя в ней нехорошо, беспокойно и неловко – думали о том, как найти выход из такого тяжелого положения. Ничего не мог посоветовать Цареградский Патриархат, который раньше, будучи свободным, подписал с Римом Унию во Флоренции, а теперь под султанской рукой сидел подневольным и лишь потому заботился о Руси, что ему денег нужно было на выкуп и бакшиш для турков. И Москва не могла помочь, так как и там было не лучше, да и видно было, что царь хочет из Церкви сделать оплот для самодержавия, – и это было для него самым важным. Нужно было так действовать, чтобы души своей, которая из этой земли выросла и не была латинской, не продать, но при том завести порядок и святую веру утвердить, Церковь спасти. Возобновление Унии висело в воздухе, хотя слишком много было неготовых к тому, а среди людей господствовало недоверие, может быть и не без причины.

А что же Кунцевич?

3. Со времени, когда юным уезжал из Владимира, многое там изменилось. В 1593 году умер владыка Мелетий Хребтович, а его наследником на епископстве за протекцией и по воле князя Острожского стал товарищ князя, брестский кастелян Адам Потий. По церковной традиции он сначала постригся в монахи, получил имя Ипатий и под этим именем взошел на престол владимирского епископства. Потий, будучи еще мирянином, видел спасение Церкви в Унии с Римом, и, когда стал владыкой, не изменил своего мнения и в проповедях готовил верных понемногу к воссоединению, стараясь уменьшить нежелание и предубеждение православных. Он не знал еще того, что русинский епископат уже несколько лет ведет беседы по этому поводу с королем и что Уния уже готовится.

Узнал об этом вскоре, хотя и не из первых рук. Вот ведь странно: князь Острожский, в будущем

¹ Украина и Беларусь

непреклонный и могущественный враг Унии, сам тогда о ней думал и в письме к Потию просил, чтобы на ближайшем Синоде «с митрополитом и другими епископами обдумали способы и средства, которыми можно было бы ликвидировать разъединение с Западной Церковью». Разговаривал князь и с Поссевино, а, собираясь в Италию, помышлял говорить с самим папой. Если бы князь в Остроге, который был протектором Церкви, обладал большими возможностями, пользовался уважением и немалым влиянием, остался бы при своих объединительных намерениях, тогда, вероятно, совсем другой была бы дальнейшая судьба Унии. Но в княжьем письме были и мысли, которые мудрого Потия не порадовали. У князя были свои условия соединения, и среди них такие, что никак не могли быть выполнены. Во-первых, князь представлял себе (и считал это главным условием), что к Унии с Римом вместе с Церковью Русинской присоединятся и все Восточные Православные Патриархаты, а в то время это было нереально. Ведь сам Цареградский Патриархат, занимавший почетное место в православном мире, сидел в Константинополе под султанской рукой и был ею крепко связан, подневолен. Даже если бы захотел, то и тогда мечтать не мог бы, чтобы султан спокойно смотрел на объединение Патриархата с важнейшим врагом ислама – римским папой. Никким образом этого быть не могло. Так же и Москва была очень далека от такой мысли, и сам Поссевино в этом уже убедился. Совсем не для этого в 1589 г. царь основал Московский Патриархат и освободил российскую Церковь из-под власти Царьграда, не для того превращал Москву в Третий Рим, которому, как ему казалось, должны подчиняться все православные христиане, чтобы войти в Унию с католическим Римом и признать его верховенство.

«Все христианские царства преидоша в конец и снисдошася во едино царство нашего государя, по пророческим книгам, то есть российское царство; два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти.» Когда это было сказано? Еще в 1511 году, когда монах Филофей обращался к великому князю Ивану III. С того времени ничего не изменилось, кроме усиления московско-церковной идеи. Совсем нереальным было условие князя Острожского, – тем более, что другие православные церкви были автокефальными, каждая сама собой управляла; и к общему мнению, особенно в столь важном вопросе, прийти было невозможно, даже если бы созвали Всеправославный Собор, о котором тогда никто и не помышлял.

И еще одно поражало в княжеских проектах. Князь Острожский, хоть и считал себя попечителем и защитником Церкви и вождем православного народа, поддавался сильным и очевидным протестантским влияниям. Несмотря на учение и общие взгляды Церкви, объединявшие и православных, и католиков, он ожидал при их воссоединении пересмотра многих основополагающих положений веры, особенно в вопросе о Святах Таинствах, которые считал «людской выдумкой» и хотел отменить. Другими словами, думая о соединении православия с Римом, одновременно думал о протестантизации воссоединенных Церквей. Это также было невозможно и неприемлемо ни для одной, ни для другой стороны. Церковь Русинская², вследствие невысокого образования духовенства, могла не знать многого о Таинствах; ей случалось принимать за чистую монету протестантские издания, печатанные кириллицей. Но самой своей природой она была привязана к традиции, и нельзя было ей навязывать новые учения или изменение обрядов. Могли украинские или белорусские шляхтичи в Новгородковщине или на Волыни бросать православную церковь ради протестантского собрания, но Церковь в собрание перенести не было ни способа, ни возможности. Она бы не отреклась от ортодоксии. А послетридентский Рим не для того творил контрреформацию, защищая правую веру, чтобы теперь признать себя побежденным. Все это было несбыточным.

Потий сделал правильный вывод, что произойдет одно из двух: либо князь Острожский Унии не хочет, и поэтому специально выдвигает совсем невыполнимые условия, либо, будучи по имени православным, не совсем стоек в «русинской вере», и переоценивает свое влияние. Крупные магнаты, а Острожский был очень крупным магнатом, привыкли думать, что мир вертится так, как они указывают. Но это было не совсем так, хотя они этого не понимали, высокомерно переоценивая свое значение. Поэтому не следует рассчитывать на князя из Острога: разные перед ними лежали дороги. Потий уклончиво ответил князю-воеводе и сидел тихо, но делал свое дело. Объединительные совещания и переговоры русинского епископата шли уже с 1590 года, но князь-воевода не был об этом осведомлен. В 1594 году луцкий владыка-эксарх Кирилл Терлецкий собрал подписи всех епископов Церкви Русинской, кроме Потия. Почему его до сих пор обходили? Возможно потому, что он был совсем недавно поставлен на епископство, и Терлецкий, когда-то любимец Острожского, с которым позже они разошлись из-за какого-то пустяка, думал, что Потий, выдвинутый князем на владимирское епископство, является, вероятно, его искренним сторонником, верным слугой и может Острожскому весь замысел преждевременно раскрыть, – поэтому сторонился его. Он ошибался – когда, наконец-то, направился к владимирскому владыке, совсем

² т.е. украинская и белорусская

неожиданно застал его в Торчине у латинского луцкого епископа, будущего кардинала Мацейовского, одного из польских сторонников Унии. В его присутствии Потий, которому, наконец-то, открыли тайну переговоров и их результаты, немедленно поставил свою подпись, увидев, что он не одинок в своих замыслах и что условия русинского епископата – реалистичные и достойные. С этого дня шли они с Терлецким рука об руку. Но знал он и то, что князь Острожский резко выступит против Унии. Его задело за живое, что русинские епископы решили этот вопрос за его спиной. Не мог такого простить гордый и амбициозный пан.

И вправду, когда князь узнал об этом, то его чуть удар не хватил. Назвал их предателями. Отколол от лагеря объединителей сначала львовского Балабана, а потом и перемышльского Копыстенского, киевского митрополита сильно напугал. Михаил Рагоза, в прошлом придворный писарь виленского воеводы, князя Корецкого, был человеком боязливым и нестойким, и должен был больше оглядываться на могущественного пана из Острога, который был рядом и у которого под патронажем были тысячи церквей, чем на далекого папу из Рима. Поэтому, хотя и подписал Унию, но перед Острожским отрекся. Так уж должно было быть с Рагозой: что одной рукой подписывал, другой – в случае надобности – мог замазать. Рагоза не был ни плохим, ни продажным. Был светлым человеком, и ни в чем недостойным, как его предшественника, Онисифора Девочку, нельзя было его обвинить. Но даже у тех, кто саблю на боку носили, дрожали коленки, когда сенатор из Острога грозно сдвигал брови. Так и митрополит сник, когда довелось ему встать перед князем.

Потом князь отправил своего посла на протестантский синод в Торуне с призывом к совместной борьбе против католицизма, так как ближе ему – как писал – была протестантская братия, чем Рим. В конце концов и силой пригрозил королю. А собрать он мог свыше двадцати тысяч сабель.

В ноябре 1595 года епископы Терлецкий и Потий, как уполномоченные Русинского Епископата, прибыли в Рим и уже на третий день после приезда их принял папа Климент VIII. Несколько недель продолжались переговоры и беседы в ватиканских дикастериях. Посланники убедились, что Апостольская столица лучше относится к Унии, чем Польская Церковь и государственная власть Речи Посполитой. Условия и пожелания украинского епископата были полностью приняты и одобрены, – в частности – неизменность обряда, церковных канонов и обычаев, что для Церкви было очень важно. Рим не настаивал даже на добавлении своего «и Сына» в никейском Символе Веры и отказался от введения григорианского календаря в Церкви Русинской, чтобы не допустить изменений в обычаях. От короля и Сейма Рим требовал, чтобы они уравнили в правах духовенство греческого обряда с духовенством латинским и выделили епископам места в сенате (чего, однако, Польша так никогда и не выполнила).

23 декабря, в зале Константина в Ватикане, в очень торжественной обстановке был совершен акт Унии и составлены соответствующие документы на украинском и латинском языках. Позже папа специальной буллой оповестил об этом весь христианский мир.

Возвращаясь, везли множество писем папы: к королю, сенаторам, канцлерам коронному и литовскому, епископам обоих обрядов. Митрополит, если бы остался при Унии, получил бы право назначать и посвящать епископов без обращения к Риму; установлено было также, что епископов выбирает король среди трех кандидатов, представленных епископатом и митрополитом. Не было больше дороги для тех, кто по чьей-то протекции, и даже без посвящения, становился епископом. Церковные каноны такого не допускают. Необходимо было также открывать духовные школы и семинарии. Церковь могла теперь обновить и дух свой, и устройство.

В Украине и Беларуси, как и ожидалось, начались волнения, потому что такое дело не могло остаться незамеченным. Большой шум в варшавском сейме поднял князь Острожский. В Вильне встало на дыбы ставропигиальное Братство, а с ним священники Василий, Герасим и дидаскал (учитель) Стефан Зизаний, хотя их в январе 1595 г. православный синод анафематствовал за лютеранские ошибки и запретил им учить. Теперь кричали они, что защищают святую православную Церковь от антихриста из Рима и слуг его.

Несмотря на это, в 1596 году созвали объединительный синод в Бресте Литовском. Унию приняли: киевский митрополит Михаил Рагоза, владимирский епископ Ипатий Потий, луцкий экзарх Кирилл Терлецкий, полоцкий архиепископ Гермоген, пинский епископ Иван Гоголь, холмский епископ Денис Збируйский, а, кроме того, три архимандрита – брацлавский, лавришевский и минский, значительная часть епархиального духовенства и шляхты. Присутствовали при этом в качестве папских делегатов латинские епископы Ян Соликовский, Бернард Мацейовский, Станислав Гомолинский, а также в качестве богословов Петр Скарга, Юстин Раб, Мартин Лятерна и Каспер Нехай.

Князь Острожский прибыл в Брест вооруженным. С ним были два епископа: львовский Балабан и перемышльский Копыстенский, который, пренебрегая церковными канонами, сидел на владычьем престоле с женой и детьми, поэтому и не спешил к присоединиться к униатам с их порядками. Было с

князем и немало монашеского духовенства, шляхты, представителей братств и мещан, а больше всего людей, зависимых от него или от других православных магнатов, неблагосклонных к воссоединению, таких как князь Юрий Чарторыйский и князя Олельковичи, или от кальвиниста Радзивилла, и потому им покорным. Все они, не желая ни разговаривать с «папешниками», ни принимать участия в совместных совещаниях, собрались на отдельный синод под руководством приезжего из Молдавии Никифора, называвшего себя представителем и заместителем Цареградского Патриарха. Титул этот очень сомнителен, если принять во внимание, что в Константинополе патриаршая столица в то время и вплоть до 1597 года сиротствовала и не было патриарха, а цареградский перечень патриархов, называя администраторов и заместителей патриарха – Матвея и Гавриила – ни о каком Никифоре не вспоминает. На своем собрании они отвергли Унию и объявили анафему епископам, ее принявшим.

В этом же 1596 году Кунцевич прибыл в Вильно.

4. Несколько лет миновало, пока (не без колебаний) нашел свой путь. В 1599 году умер Рагоза, митрополитом стал Потий (на что Терлецкий смотрел искоса).

А Кунцевич из года в год все настойчивее искал всяких знаний и добился значительных успехов. Абсолютный самоучка, никогда никакой коллегии или академии и не начинавший, и не закончивший, был он очень интеллигентным человеком весьма быстрого ума. Значительно позже, когда уже должен был он стать полоцким владыкой, иезуит Станислав Косинский, человек высокообразованный, ректор коллегии, который долго с ним беседовал, очень удивлялся, что ни на каком спорном вопросе Кунцевича невозможно было поймать, и, зная, что он никаких школ не кончал, назвал его «богословом от Бога, от природы». Сначала размышлял он о том, чтобы не из одного только послушания идти за митрополитом, а потому, что этого требуют правда, совесть и вера. А дальше: что же с собой делать? Так как было ему понятно, что место его не за купеческим прилавком.

Как-то поклонился своему опекуну: пришла пора ему разобраться с самим собой. На несколько дней затворился в келье монастыря Пресвятой Троицы. Только Бог мог направить его на верный путь. Не польский, не украинский, не латинский и не греческий: единственный. Молился горячо, без остановки, так что и коленей уже не чувствовал.

Понял Кунцевич: вот Божье дело, о котором молился Христос на Тайной Вечере: «Чтобы все были едино». Именно здесь начинается это дело, на землях литовских, белорусских и украинских, на Руси Червонной. А размышления князя – и не церковные, и не Божьи. Так оно и есть.

Когда на вечернюю молитву едва собралось в церковь Св. Троицы двадцать человек, так что с трудом удавалось пение, неожиданно раздался аж до самого купола молодой, прекрасный голос. Оглянулись и, хотя темно было, узнали: это поет челядинец Поповича Кунцевич.

Решил для себя, что пойдет в монастырь. Но было тяжело. Отец не соглашался, а ему жалко было отца, ведь тот добра ему желал и по своему разумению хотел ему обеспечить выгодную и состоятельную жизнь. Да и Поповича жалко, опекуна. Старик привязался к нему, а теперь гневался. Ни тот, ни другой не хотели его отпустить, а он не был еще совершеннолетним, чтобы иметь право самому решать свою судьбу. Думали, что, может, у него это пройдет, ведь еще зеленый. У многих такие мысли в голове возникают, а потом проходят. А может и девушка какая-нибудь его чарами опутает, все-таки красивый парень. Нужно ждать. Ждать.

Поэтому молчал. Так все и шло. А при церкви Св. Троицы уже с 1601 года действовала духовная семинария, основанная Потием. Ректором был Федорович, а среди профессоров был и грек Аркудий, редкий знаток Святого Писания и восточных Отцов Церкви.

Вскоре умер отец, а самому Кунцевичу исполнилось 24 года. И вот в 1604 году молодой человек постригся в монахи. Принял имя Иосафата. Совсем скоро был посвящен в диаконы, так как знал уже все, что нужно знать. Сам митрополит надевал на него монашеские одежды. Знал о нем от виленских профессоров и многого от него ждал.

Казалось Кунцевичу, что достиг он своей цели.

5. Да. Достиг цели. Не думал ни о какой карьере. Здесь он будет жить, молиться, петь, совершать богослужение и работать. Дай, Господи, чтобы можно было послужить единству Церкви Божьей. Отваги и рвения было у него много.

Вспомнил виленские улицы и некоторые раздраженные лица – и улыбнулся: Эх, народ мой! Боишься католических порядков, как самого черта. Чтобы – сохрани Господи – ничто никогда не изменилось, и, хотя бы и нехорошо было, но все-таки по-своему, как у предков. Душа у тебя, как большой пруд, заросший ряской и камышом. Есть в нем неизмеримые глубины, освещенные солнцем, но есть и темные бездны. А ему милы римский порядок, ученость и знание, что стоят на страже веры.

Но и у него душа восточная. Надо быть искренним с самим собой и перед Крестом: тлеет и в нем искра беспокойства, хотя и знает, что идет Божьей дорогой. Есть эта искра. Поскольку знает и то, что дело не только в верховенстве Петра. По-настоящему, это два разных мира – разной духовности и разного понимания. Есть вещи, которые понимает Скарга и его иезуитские друзья, но весь Запад и сам Рим разве что не вполне могут это понять. А тем более – польское, латинское духовенство. Это два мира.

Взять хотя бы Литургию. На Западе перед Тридентским Собором литургические обряды были разными, и никому не мешало, что французы совершенно по-другому приносят Жертву, чем итальянцы, да и в самой Италии существовали разные обряды, и среди них – очень старинные и красивые. После Собора установили единственную, совершенно новую Литургию, а полифоническое пение, расцветавшее в каждой стране по-своему, сохранилось только благодаря тому, что Палестрина пришелся по душе папе и кардиналам – ведь хотели упразднить полифонию, как слишком роскошную. Таким образом, сохранилась она едва ли не случайно. Но разнообразие обрядов исчезло: один только Карл Боромео, поскольку был кардиналом и имел большое влияние на папский двор, смог сохранить для своей епархии давний обряд, установленный св. Амвросием. Ну и что? Ничего. Старые священники поворачали о том, что нужно заново учить богослужение, но потом привыкли, и люди тоже привыкли. Рим имеет право решать так, как хочет, и вносить изменения даже в Святую Литургию.

Для восточной духовности такое невообразимо. Правда, и здесь почти каждое село пело иначе свою Литургию, было большое разнообразие мелодий, но сам обряд был неизменным, установлен раз и навсегда, как времена года, что всегда одинаково идут друг за другом в том же порядке. Ни одно предложение не могло быть изменено, ни одно слово не могло выпасть из этого порядка. Литургия была здесь, в отличие от Запада, чем-то совершенно другим: не просто установленным способом приносить Святую Жертву. Никто не мог ее изменить. Это было бы, как если бы кто-то захотел Солнце и Луну столкнуть в хаос.

Вспомним: у православных людей настало потом такое время, когда при Патриархе Никоне решили креститься не двумя пальцами, что обозначают двойственную природу Христа, а тремя, в честь Святой Троицы. Также сомневались, ходить церковным процессиям «по солнцу» или «против солнца»; говорить «Иисус» или «Исус». Из-за таких вопросов раскололась Церковь; из-за них могли отправляться в ссылку, на костер или под топор. Такого на Западе никто понять не мог.

Есть во Владимире – не Волинском, а том другом, над Клязьмой, в самом сердце России, собор св. Дмитрия (XII ст.), а на внутренних стенах – целый мир, созданная резчиком Литургия: Бог Вседержитель, Пантократор, поддерживающий существование Вселенной, лицо и вид имеет Сына своего, Спасителя, и там же Дух, парящий, как голубь, а также Божьи Святые. Есть там всякие животные. Божьи деревья, растения и цветы; и земля вместе с царем Давидом поющая перед иконостасом из звезд, за которым только невообразимая Божья святость. Божья хвала.

Как же это менять? Если что-нибудь из Литургии выбросить, то это будет все равно, что Божий мир покалечить, или возмутить гармонию небесных сфер, – разве так можно? Вот тайна восприятия, тайна души. Понимаете?

Так же и в той земле русинской веры, пусть и неученой, пусть и совсем темной, но когда Церковь поет Службу Божию, то в ней и небо, распростертое над нивами, и медленное течение темных рек, и туманы над камышами, широкая без краев земля, и дома, покорно склоненные под серой шапкой крыш, улья, гудящие пчелами, убогая человеческая жизнь, псалмы Давида и весь мир, похожий на белый калач, и Хлеб Тела и Вино Крови Христовых, объединяющие все.

Шли за этим хлебом люди, преисполненные смирения и трепета, произнося прекрасные слова, что и по сей день произносятся на Литургии: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз. Вечери Твоя тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими; не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем, помяни мя, Владыко, егда приидеши в Царствии Твоем, помяни мя, Святыи, егда приидеши во Царствии Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причастие святых Твоих Тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Боже, милостив буди мне, грешному. Боже, очисти грехи моя и помилуй мя. Без числа согреших, Господи, прости мя»

И как же можно устранять это богословие, вросшее в сам порядок Литургии, эту икону спасения? Никак нельзя. Тем более, что богословие это верное. Для латинского уха может быть и непонятны слова «егда приидеши во Царствии Твоем», но это же значит то же, что и «когда придеши во Славе Твоей» или «когда вернешься в Своем прославленном и преображенном человечестве». И большое смирение звучит в этой молитве человека, который на пороге Таинства Евхаристии отзывается эхом распятого на кресте разбойника.

Не надо им ставить дирижера с палочкой: сами себя, свою веру и свою землю воспевают они, совершая богослужение, пускай и не осознают этого богословия, пускай одним только устремлением души чувствуя истину. И неизвестно, откуда дается им такой дар. В расположенных в пущах убогих селениях темных дровосеков, воскобойников и смолокуров, появлялись иконы, похожие на волшебных жар-птиц из сказок. Люди принимали их и понимали, и снова никто не знал, как такое возможно. Нельзя отнять у них этот мир, что весь был отражен в Литургии, – и он сам, Кунцевич, не дал бы его у себя отнять: это невозможно и страшно, словно бы душу вынуть из человека.

Прочитал как-то у Скарги: «Церковь Божья богата разнообразием, как царица красотой». И уже знал: он свой, хотя и латинник. Понимает. Знает. Могут ли все это понять на Западе, а особенно польская Церковь? Польским шляхтичам, ехавшим в Украину или Московию, очень нравилась восточная Литургия. Но так, по-настоящему, ничего они не понимали, и знать о ней не хотели, да и не смогли бы ею проникнуться.

Если брать, то вместе с душой – такой, какая есть. Если соединять, то не отнимая того, что хорошо и достойно уважения, хотя и сильно отличается от привычного. Но сумеют ли? А может быть, правы те, кто говорит: «Подождите, униаты, отнимут у вас латиняне душу»?

На Западе и в самом Вильно также пишут иконы, но никто там не знает, чем является икона для Востока. Для Востока икона – это образ таинственной реальности, написанный во имя Божье, приоткрывающий завесу, укрывающую Его святость. Нет в этом никакого идолопоклонства. Знают, что икона сама по себе – только доски и краски, как окно является только деревом и стеклом. Но через окно виден свет и весь мир, что за ним. Так и сквозь икону видно Светлость Божью и Богородицу, и самих святых, живых свидетелей Бога, и поэтому человеческие губы поцелуем воздают иконе почет. Человек слаб и с землей связан, не каждый видит глазами души, поэтому нужно помочь человеку, значит, – если кто-нибудь согласно с канонами истины рисует икону, тот добро делает и достоин уважения. А кто уничтожает икону, тот закрывает окна души и убивает учителя, который учит жить в свете Божьем. Икону нельзя придумать, ее нужно себе вымолить томлением и благочестием; так что икона – это изображение явления незримого. Так понимали это русины, хотя тяжело было им выразить такое понимание словами.

А что знают об этом латинники на Западе, где важны лишь светотени и перспектива, которым радуются, как дети, а также красота девушки, с которой писали Мадонну? Что поймут из этого восточного мира люди, которые мученичество Себастьяна изображают, как образ человеческого, хорошо развитого тела? На восточной иконе мученик – это само мученичество, и не имеет значения, отличается ли образ пропорциональным соотношением форм и линий. Захотят ли люди Запада вообще понять, что перед ними открывается совершенно другой мир? Захотят ли обогатиться этим совершенно иным восприятием вещей, иной перспективой, иным видением мира, не боясь утратить проторенные веками собственные тропки, без горделивого ослепления и душевного возношения, – чтобы Церковь и вправду обогатилась разнообразием восприятия и видения, словно радуга красками? Именно этого боялся: возможно ли? Ведь может быть и так, что именно по гордыне и непониманию отбросят все это, хотя бы только потому, что восточный мир не преуспел в мастерстве владения перспективой, светом и тенью. А с другой стороны, человек восточной веры не может понять, что возможен и такой, западный, способ отображения святости в мире.

Очень много было таких проблем. Так чем же будет Уния? Единством ли, обогащающим всех законным многообразием, – или же только восточным придатком к мощной Римской Церкви, придатком, который, попав под иерархическую власть западных, будет вскоре обречен на поглощение и переделку в согласии с духом латинского мира?..

Огромный это грех и противно это замыслу Божьему: разделение Тела Христова. И нельзя убрать из Евангелия слов Господних о ключах Петровых. Един есть Глава Церкви – сам Христос, а на земле – видимый наместник Князя Апостолов, архиерей Рима. Это, видать, так Богом задумано, чтобы было одно стадо и один пастырь. Но смогут ли Петровы преемники понять, что не все овцы должны быть одной масти и одинакового вида. Что каждый имеет право на собственную душу? Да ведь на одной руке даже все пальцы разные, и глупо было бы спорить, какой из них важнее и больше заслуживает своего места.

Папа понимает все это и настойчиво требует, чтобы король и польский епископат соблюдали условия Унии и не перетягивали русинов в латинство. Но пока что во время церковных торжеств любой виленский каноник из-за своего латинства считает, что он вправе занимать место перед униатским митрополитом греческого обряда...

И тут же устыдился Кунцевич самого себя. Да ведь есть же над вселенной и над землей Вседержитель, и как Он захочет, так и будет. А кто он сам? Слуга Божий. Раб Божий. Если ты уж отдался Ему в руки, так не крутись и не беспокойся без надобности, так как не тебе Богу в карман заглядывать, что Он там подготовил. Пути Господни неисповедимы. Так что, если даже не получится, если даже не пришло

еще время доброго взаимопонимания и близости, если и случатся ошибки, то, может быть, и это все необходимо перед лицом Господним ради единой Церкви, которая будет. Которая есть.

Но которая? Даже дыхание перехватывает. Может у Бога постоянно существует только одна Церковь Сына Его, и невозможно знать, кто в ней, а кто – нет, – вчера, сегодня, из прошлых веков? Может, те, что Севастиана камнями забросали, теперь пребывают с ним вместе? Кто это знает? Поднимая камни, они думали, что служат правде, но и в голову им не приходило, что правда может быть шире, и не обязана быть на их стороне. Но если она не с ними, то камнем ее не убьешь. Дети неразумные.

Может быть, в огнях Суда сгорит не одна инфула и не одна митра, а те, кого не любили ни одни, ни другие, как это случается с униатами, обретут, возможно, больше милости у Бога.

Этим сам себя поймал: видишь, Иосафат, каков ты. Душа у тебя восточная, но уже не православная. У православного не могло быть таких мыслей. Для православных существует только один способ почитания Бога: их собственный. А все остальное – только блуд и отступничество, вечная мука и дьявольский обман. Одни только христиане настоящие – православные.

Но, если быть честным до конца, не то же ли думают и латинники?..

Вот ты каков, Иосафат: ты ни латинник, ни православный. Новое чудо появилось – восточный католик, хотя, возможно, сам еще не осознающий того, что происходит. Сердце болит у тебя, что та Речь Посполитая, в которой живешь, не является родиной всех трех ее народов. Ты ведь все-таки русин из Червенских городов, хотя по-польски умеешь разговаривать, не хуже, чем по-русински. Местный ты, из Руси. Посмотри, сколько же людей «русинской веры» та самая Речь Посполита переманивает в латинство. Причем самых знатных: Зборовских и Сангушков, Слуцких, Вишневецких, Заславских, Хребтовичей, Корецких, Ружинских, Черторийских, Соломерецких, Масальских, Семашков, Ходкевичей, Пузинов...

Правда, сами они переходили, никто их за полы не тянул и силой не принуждал. Но делали они так потому, что никто в Речи Посполитой не уважал русинской веры, не заботился о ней, не хотел ни знать ее, ни любить.

Так-то, Кунцевич: искренне и всем сердцем прилепился ты к Петровой Столице, но души своей русинской не отдашь. Но, в то же время, мысли твои уже не как прежде, – осмелел как будто. И никакой в тебе замкнутости нет или закрытости, и низшим себя не ощущаешь, хотя ты обычный мещанский сын, разве что, возможно, с варяжской воинской тенью за спиной. Большое у тебя сердце – Восток и Запад наравне хотелось бы тебе уместить в нем сразу. Так и попробуй! Каждому человеку дан его собственный путь. Может, и преждевременно довелось тебе родиться. Но, если именно теперь пришло это тебе, то, значит, так и надо. Может, Бог хочет, чтобы ты был знаменем и светочем. Значит, придется сгореть. Если мать родила тебя, доверяй Богу, что не зря это случилось и не без пользы. Не волнуйся, не сомневайся, делай добро. Служи Церкви Божьей. Все мы равно в руках Божьих.

Крест был старый, церковный, расписанный и позолоченный, но сильно почерневший и только там, где ноги гвоздем пробиты, осталось ясное зацелованное место. Поднялся Кунцевич, крест поцеловал и кресту поклонился. Но даже не обратил внимания, как это сделал. Ибо российский собрат, православный раб Божий, лбом к земле припадал, поклоны стократ отбивая. А он – стоя, рукой к земле. Так кланялись шляхтичи в костелах перед Телом Господним, как при дворе вельможному пану. И, точно так же, казаки в Сечи, хотя и православные.

6. Обитель Святой Троицы была старой: церковь и монастырь основала где-то в середине XIV века Ольга, жена Ольгерда Гедиминовича, и находились в них реликвии первых на Литве христианских мучеников, Ольгердовых дружинников. Была там также чудотворная икона Богоматери, привезенная когда-то давно с Востока, очень старая и почитаемая. Каменную церковь и монастырь построили в 1511 г. и находилось при Святой Троице церковное братство, наделенное ставропигиальным правом. Когда же пришла Уния и Святая Троица примкнула к ней, братство переместилось в церковь Святого Духа. В монастыре Святой Троицы имелось когда-то богатое достояние, великим князем пожалованное, но потом, постановлением короля Стефана Батория, опеку над обителью принял городской совет и так ревностно опекал, что в течение двух десятков лет миряне растащили все и даже начали в монастыре жить, оставив монахам лишь несколько келий. Но больше и не нужно было, так как лишь несколько иноков и осталось. Бедствовал монастырь.

Когда прибыл Кунцевич, архимандритом был Пеласий, знаток славянских церковных книг и языка, приверженец Унии, человек благодушный, но слишком свободных нравов и недостойного поведения. Он, увидев, как Иосафата одевают в монашеские одежды, от удивления не мог опомниться, что юноша пренебрег богатством Поповича и пришел сюда, где его ждали неведомое будущее и несомненная бедность. Потому что, все-таки, по-человечески размышляя, это был шальной замысел. Удивился бы еще больше, если бы знал, что Кунцевич хочет чин реформировать. Но такое уже и в голову придти ему не

могло.

Кровь у Кунцевича была горячая, и сам он хорошо об этом знал. Поэтому тело свое держал в строгости, сурово постился, не любил тепло, спал на шкуре, поднимался на рассвете, пока звезды не погасли, и часто день начинал с плетки. Видали собратья и кровь на полу. Когда же на израненную спину натянул свою излюбленную власяницу, то ощутил уже полную безопасность и свободу души, будто бы усмиренное тело признало поражение. Архимандрит с добросердечной улыбкой смотрел на аскетические упражнения послушника: «Успокойся, здоровье потеряешь, силы покинут, людей напугаешь». Иосафат и вправду сильно осунулся, почернел, только глаза горели у него на овальном его лице, словно еще больше стали. Но людей как-то не отпугивал – наоборот. Шли по Вильно слухи об Иосафате: давно, говорили, такого не было. Шли к нему, чувствуя в этом человеке большую праведность, без всякого притворства. А силы у него не уменьшались – железным был. Одиночества искал, много молился, много размышлял, книги читал. Келья у него была маленькая возле самых ворот, и он почти не выходил из нее, разве что на богослужение. Когда к нему в келью стали приходиться и отнимать покой, нашел себе место для уединения в маленькой часовенке св. Луки в самой церкви, так что стали говорить, будто Иосафат из церкви келью делает.

Три года из келий и церкви не выходил, но не совсем порвал связи с миром: поддерживал контакт с иезуитами, с виленскими профессорами, с Аркудием и Федоровичем. Брал у них книги, главным образом сочинения Отцов Церкви. Нашел в монастыре друга, Хмельницкого, однофамильца, а может быть и родственника будущего гетмана Украины. Он, хотя и шляхтич, не зазнавался, был очень набожным и верным, доброжелательным и дружелюбным. Нашел и других товарищей, а самым ценным был Иван-Вельямин Рутский. Был это необычайный человек. Родом из села Руты, что на Новгородковщине. Родители его были кальвинистами, но единственного сына крестили в православной церкви. Учился он потом в виленских кальвинистских школах, в университетах в Праге и Вюрстбурге. Уже в Праге бросил кальвинизм и перешел в католичество. Родители перестали ему помогать. Из Вюрстбурга пешком пошел в Рим, где иезуиты определили его в Греческую коллегию.

Юношей Рутский плохо относился к Восточной Церкви, так как насмотрелся на ее разложение и злоупотребления духовенства, и не верил, что можно ее спасти. Воспитанный с младенчества в кальвинизме, не понимал он церковных обрядов и восточной веры. Но папа, несмотря на его сопротивление, восхотел, чтобы этот доктор теологии и философии, человек больших способностей, служил Церкви, и спасал русинскую Церковь. Таким образом, после учебы, в 1602 году Рутский прибыл в Вильно и послушно отдал себя в распоряжение Потия. А Потий встретил его весьма холодно и с недоверием, боялся, что нет у него ни глубокого духовного знания, ни любви к Церкви, что обряд будет калечить. Предложил ему выезд за границу с сыновьями Радзивилла, а позже назначил его ректором местной Греческой коллегии.

Так что прибыл в Вильно кармелит Павел Симон, направленный с миссией в Персию, потерявший интерес к делу Рутский решил ехать с ним. Доехали до Москвы, но царь выгнал католических миссионеров. Выброшенные за стены, блуждали во мраке и мгле целую ночь, чтобы утром оказаться под теми же воротами. Благочестивый кармелит увидел в этом знак Божий и казалось ему, что Рутский является для него тем самым, кем пророк Иона, бежавший от приказа Божьего, был для своих товарищей на корабле. Пусть же возвращается в Вильно. И если даже Церковь ему покажется Левиафаном, пусть разрешит себя проглотить, если такова воля Божья и повеление священноначалия. И Рутский вернулся.

Вскоре Рутский познакомился с Иосафатом Кунцевичем. И Кунцевич изменил этого человека, ученого, доктора двух факультетов. Рутский, познакомившись поближе с Кунцевичем, увидел благодаря ему весь блеск и все достоинство Восточной Церкви, о которой думал, что она уже умерла. Он был просто очарован. Недолго думая, пошел за Иосафатом к василианам, в Святую Троицу, и вместе с пятью другими молодыми кандидатами постригся в монахи. Стал таким ревностным во всех упражнениях аскетических, что самому Иосафату пришлось его сдерживать, так как здоровье у Рутского, в отличие от самого Кунцевича, было слабое. Искренне полюбили они друг друга, но все же Рутский больше брал от Кунцевича, чем тот от него. Это может показаться удивительным, ибо Рутский был старше, просвещеннее, странствовал по миру, знал языки. Но в душе Кунцевича пылал большой огонь, а тихий, несмелый Рутский был очень чувствительным и, несмотря на свою ученость, простодушным, как ребенок.

Кунцевич тоже многое получил от этой дружбы и тогда, и потом, а Рутского всегда сильно уважал; но все-таки без Кунцевича Рутский не был бы тем, кем вскоре стал. Наконец-то сам Потий поверил в его горячий пыл и проникся к нему доверием.

Время было очень беспокойным. В 1608 году тогдашний архимандрит виленской Святой Троицы, Самуил Сенчило, монах старой школы, и протоиерей Зашковский сошлись с братством Святого Духа и вошли в заговор против митрополита и Унии. Они надеялись подчинить себе Минск, Гродно и

Новгородок, но в первую очередь необходимо было завладеть обителью Святой Троицы, которая уже тогда была форпостом Унии в столице митрополии. Сенчило отослал Рутского из города, будто бы по церковным делам, а Кунцевича сильно искушал, представляя ему опасность Унии и требуя монашеского послушания. Приберег и еще один сильный аргумент: уже в 1603 году король, встревоженный бунтом Зебжидовского, пошел на уступки православным и согласился, чтобы униатские епископы оставались таковыми лишь до своей смерти, а после них придут «люди чисто греческой веры». Конец пришел Унии. Кунцевич не поддавался этим аргументам, и тогда архимандрит сгоряча ударил его в лицо, но Иосафат был уже не тем, что в ранней молодости, и перенес это с покорностью. Уважаемые мещане, братчики, пригласив его на встречу, то угрожали Кунцевичу, то вставали перед ним на колени и целовали ему ноги. Ничего не достигли. Кунцевич сообщил обо всем Рутскому, а Рутский послал письмо Потю. Потий, находившийся в это время в Варшаве, сводя на сейме счеты с противниками, через специального посланца передал Рутскому достоинство и обязанности своего генерального викария для всей литовской части митрополии, дав право независимого управления. Сам как можно скорее вернулся в Вильно. Заговор провалился. Сенчилу и Зашковскому сняли с должностей и выслали из города. Но они все пытались продолжать свое дело. Сенчило пожаловался на Потю и Рутского в Литовский Трибунал, а пока что спокойно ходил по Вильно. Открыто собирали заговорщики пожертвования на подкуп трибунала, а может и сейма, и никто им на это даже плохого слова не сказал. А впрочем, подкуп был и не нужен. Литовский трибунал, в котором заседали протестанты и православные, лишил Потю митрополии, архимандрию Святой Троицы присудил Сенчилу, а Рутского наказал десятью тысячами золотых. Король отменил решения трибунала и вернул Потю его достоинство и все церкви, кроме церкви и монастыря Святого Духа. Но 12 августа 1609 г. Устроено было на Потю покушение. Один из покушавшихся на улице Вильно ударил митрополита саблей. Митрополит невольно заслонился рукой, в которой держал епископский посох. Сабля перерубила дерево, отсекла два пальца, рассекла золотую цепь на груди и разорвала одежду, но потеряла уже скорость и не достигла тела. Падающего Потю Рутский заслонил собою. Нападающего схватили, а король с сенаторами и нунцием Симонетти, узнав, поспешили прибыть самолично. Отрубленные пальцы Рутский положил на алтаре обители Святой Троицы, а Кунцевич, которого как раз рукоположили во священники, исповедывал в тюрьме осужденного на смерть злодея и приготовил его к смерти. В тишине и не без удивления смотрела королевская гвардия, как на эшафот поднимались вместе, обнявшись, осужденный и его исповедник.

Нужна была эта кровь Потю, чтобы и в самом Вильно, и за его пределами стало спокойнее. Люди не были злыми, и после случившегося словно протрезвились. Можно еще сердиться, кричать, бунтовать и по судам таскаться, но чтобы на духовное лицо с оружием идти, да еще и перед этим получив церковное благословение – нет, это уж слишком. К тому же снова намечалась война, время было смутное, а чернь, просачивающаяся сквозь границы, и беженцы с изможденными лицами, когда ели и отогревались, рассказывали такие жуткие вещи, что невозможно было поверить.

Рутский стал архимандритом в Святой Троице, а в 1611 году Потий назначил его своим помощником и преемником. Выбор это был правильным, так как никто другой среди тогдашнего русинского духовенства не имел такого образования и подготовки, а привязанность Рутского к Церкви не вызывала уже сомнения.

7. Как было уже сказано, в 1609 году Иосафат Кунцевич получил иерейское посвящение, причем принял его не без сопротивления, так как считал себя недостойным, но Рутский настоял на этом. Теперь только по-настоящему начался его рассвет.

Но не только его.

Именно в это время появился на виленском горизонте новый поборник православия – Максим Герасимович Смотрицкий, в монашестве – Мелетий. Одногодок Иосафата, человек шляхетского, хотя и неизвестного рода (фамилия его происходила от села Смотрич на Подолье, а Герасимович – по отцу). Был украинцем, но и польским языком владел в совершенстве, так что поляки называли его польским Цицероном. Но это не важно. Важно, что он был украинцем, как и Кунцевич.

Удивительно переплелись судьбы этих людей. Если бы кто-нибудь писал роман и выдумал Смотрицкого, то можно было бы сказать, что такое возможно только в романах. Впрочем, жизнь богаче любого вымысла. Ибо эти двое людей встали друг против друга, словно зеркальные отражения. Были они даже внешне похожи и, если бы не разный путь, могли бы обняться, как братья. Но Кунцевич избрал Унию, а Смотрицкий, хотя и не без сомнений, – православие. Был он столь же способным, одаренным, благочестивым, любящим веру, аскетичным, живущим в бедности и молитве, о чем все знали. Только в том между ними была разница, что Смотрицкий получил образование в нескольких университетах (Линек, Виттенберг, Вюрстбург), не говоря уже об Острожской Академии. В этом он превосходил Кунцевича.

Смотрицкий тоже хотел обновить Церковь. Уже в 1610 году он создал самое выдающееся свое

произведение – «Тренос, или Плач Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Восточной, с изъяснениями догматов веры, переведенный сначала с языка греческого на славянский, а теперь со славянского – на польский Теофилом Ортологом той же святой восточной Церкви».

Псевдоним и ссылка на переводы были лишь литературным приемом, поскольку книга была его собственным сочинением и показывала его огромную эрудицию. Смотрицкий использовал не только Святое Писание, Отцов Церкви и античных авторов, но и сочинения Петрарки, Эразма Роттердамского и Савонаролы, так как знал всю западную литературу. Книга его пользовалась большим почетом среди православных, ее приравнивали к Святому Писанию, целовали и клали на голову во время церковных обрядов. В том же году с ней уже полемизировал Петр Скарга, а вслед за ним – и другие.

И была это не битва с призраком. Как мы в конце концов увидим, смерть Кунцевича была в определенной мере и его, Смотрицкого, рук делом.

Но самым удивительным (и это мы тоже увидим) было окончание этой истории. Смерть не прервала их борьбы, а умерший Кунцевич, как окажется, будет еще более грозным противником, чем был при жизни. А пока что сошлись в схватке. Однако не известно, всегда ли и неизменно ли то были объятия противников. Ибо когда позже Смотрицкий издал свою «Палинодию», очередную полемическую, вроде бы, книгу, то Острожское братство приказало ее сжечь: братчики приписывали Смотрицкому чрезмерное пристрастие к католичеству, или даже стовор с униатами, хотя это уж была неправда.

Не таким простым был он человеком. Но и Кунцевич был таким же, хотя и совсем иного склада. Несмотря на самоуглубленный характер, внешне – живая жизнью благочестивого монаха и следуя стопами древних Отцов Церкви, он обладал, может сам того не ведая, душой авантюриста. У него не было ни одной проповеди, что была бы посвящена только вере – Кунцевич всегда выбирал темы насущные и спорные, и был счастлив, гарцуя на этом «поле битвы», словно на глазах сражающихся армий. Вера у него была сильная и глубокая, ум быстрый, знания – хоть он и был и самоучкой – значительные, а память – просто феноменальная: дважды прочитав книгу, мог он всю ее повторить наизусть. Был у него также большой дар слова, да еще и голос для пения и речей пригожий. Но особо даровит он был в подобном «словесном фехтовании»: словно бы атаковал, да не саблей, а пылающим факелом. Говорил он с глубоким убеждением и пылом, но всегда спокойно, без фанатизма и сарказма. Во времена всеобщего возбуждения страстей это была вещь почти неслыханная, так как видно было, что поранить не хочет, а только озаряет светом и ослепляет сильнее, чем мог бы это сделать холодным и кусающим блеском сабли. Молчаливый в монастыре, огнем пылал перед алтарем. Толпы народа собирались на проповеди Кунцевича, и униаты, и православные, даже и протестанты, хотя иногда и просто из любопытства. Еще не бывало в церкви таких проповедей. В церкви Св. Духа таких проповедей также не бывало, ибо Смотрицкий, несравненный полемист пера, оратором не был. Ему нужна была тишина, уединение, покой, чтобы мысли и слова текли быстро, упорядоченно и красиво.

Иосафат не одну душу привлек. Вскоре в церкви Св. Духа появилась фреска, где было нарисовано, как Кунцевич, волшебник, маг, обманщик и «душехват», толкает православный люд в огонь на вечные мучения. Даже лицо было нарисовано очень похоже, и когда какая-нибудь женщина слишком сильно засматривалась, проникнутая религиозным страхом, ее толкали: «Иди, дура, и перекрестись!» – и крестилась трижды, чтобы нечисть отогнать. Перед живым тоже крестились, а кое-кто и камнем бросал. А он, очевидно, сам беду искал: ходил к людям с проповедью и поучениями именно туда, где к нему с враждой относились. Но ничего плохого ни разу не случилось с ним, может быть как раз потому, что он совсем не боялся. Стоял перед людьми так, словно был вооружен. Даже если кого-то не удавалось убедить, иногда с ним все же соглашались, а иногда – только мотали головой и отказывались слушать любые аргументы, а у самих оставалось только одно: «Эх, Кунцевич, если бы ты был наш!»

Литургию, хотя она и очень сложна, знал всю наизусть и для всех дней богослужебного года, треб и праздников, знал все тексты, отличия служб, все песнопения. Он открыл для себя, что в Литургии русинской содержится все богословие, и отличался от монахов старой школы тем, что в каждом литургическом тексте мог выявить и объяснить его богословское содержание, и то не были объяснения профана. Было что-то достойное удивления в его интеллекте, который все-таки не формировался в университетах. Александр Тышкевич, полоцкий земский судья, который познакомился с Иосафатом еще в Вильно и который высоко ценил точное мышление, считал его человеком большого ума и души, перед которым раскрыты и которому доступны все тонкости тайн Божьих. Ректор варшавской иезуитской коллегии, прибыв в Вильно, пошел к Иосафату с недоверием и скептически настроенный, но после длительной беседы с ним дал ему самую высокую оценку. Больше всего удивлялся он тому, что Кунцевич, разговаривая с ним по-польски, так умеет высказать глубочайшие вопросы и смысл католической веры, что и на латыни не нужно ничего уже ни исправлять, ни прибавлять. А поначалу ему такое казалось невозможным.

Была также при нем в монастыре устроена отдельная комната для калек, бездомных, больных. Антон Селява, который стал потом преемником Иосафата на полоцком епископском престоле, а в 1612г. целый год пребывал при нем в Вильно, – признавал, что когда Кунцевича не было в келье или в церкви, когда он не проводил беседу в городе, то обычно сидел в этой «гостиннице», прислуживая, обмывая и кормя несчастных. Милосердие его было воистину героическим. Отец Тарас Нарбутович сопровождал как-то Иосафата при посещении одной очень бедной женщины, а когда оказалось, что она, проживая в одиночку, уже давно тяжело болеет, что не в силах подняться с кровати, а ее открытые раны гноятся, то Иосафат первым делом взялся наводить порядок, очищать, обмывать и перевязывать несчастную. В доме поднялся такой смрад, что монаха стало мутить, и он поспешил за дверь. Иосафат укоризненно посмотрел на него: «Брат, научись переносить это из любви к Богу и людям, чтобы избежать смрада вечного, – а этот, здесь, – куда меньше!»

Когда позже он уезжал из Вильно в полоцкую столицу, провожала его большая толпа плачущих бедняков. Был он милостив, унижения прощал и оборачивал в шутку, а когда его кто-нибудь обижал и потом каялся на исповеди, то никогда за свое унижение не накладывал никакой епитимии, удовлетворяясь раскаянием и исправлением. Но однажды видели его в гневе. Какая-то женщина бежала с громким криком церковным двором, а за ней бежал Иосафат с плетью в поднятой руке. Женщина эта, а была она красавицей, попросила об исповеди, а во время нее начала настойчиво приставать к исповеднику с бесстыдными предложениями. Иосафат в гневе схватил плеть и погнал негодную через двор.

Ревность Кунцевича о вере имела и свои опасные стороны. Помнил он, что когда был еще диаконом без иерейского посвящения, прибыл в виленский монастырь Святой Троицы монах из далекой Московии Варсонофий-юродивый, безумный Христа ради, великан с удивленными глазами ребенка. Большое впечатление произвел тот на него, и Иосафат некоторое время размышлял, не выбрал ли этот человек лучшую судьбу, скитаясь с помощью Божьей под бескрайним небосводом. То, что тогда Кунцевич не пошел вслед за ним – заслуга Рутского и кое-кого из уравновешенных друзей.

Рутский тихо и скромно, полный инициатив, но часто вверяя исполнение своих идей другим по причине нерешительности, реформировал вместе с Иосафатом василианскую монашескую жизнь по образцу Отцов Восточной Церкви, однако используя при том и опыт обновленных после Тридентского Собора западных монашеских чинов. Рутский, которому давали на это право его познания, преподавал послушникам основы веры, учение отцов Церкви, основы монашеской жизни по трудам св. Василия Великого. Читали Святое Писание и церковные книги. Независимо от этого при монастыре существовала семинария для епархиального клира, а многие потом шли и в академию. Не теряя своей сущности, Церковь была уже все-таки другой, не такой, как раньше. Кунцевич обучал Литургии и преподавал монашеский устав. Но через изучение Литургии передавал также и богословие.

Родственников у Рутского не было. Когда стал монахом, большую часть своей собственности отдал монастырю. Прибавил к этому Михаил Радзивилл, прибавил виленский латинский епископ, да и горожане не поскупились. Началось восстановление и обновление церкви и монастыря, да и число монахов росло, тянулись молодые, словно бабочки к свету, вдохновленные святым примером. Другим теперь был дух в церкви – просторнее. Свято-Троицкая церковь была открыта целый день, и почти до полуночи совершались моления. В 1614 году было уже в обновленной василианской обители 60 монахов, среди них встречались и студенты Греческой коллегии – такие, как Илья Мороховский (с 1612 года владимирский епископ), или Лев Кревза, известный позже писатель.

Была у монастыря Святой Троицы также и своя живая легенда. В 1610 году прибыл туда московский патриарх Игнатий, назначенный Дмитрием-Самозванцем, вместе со своим секретарем, греком Эммануилом Кантакузином. Когда убили самозванца, а царем стал Шуйский, патриарх попросил убежища в Польше. Тяжело понять, почему православный патриарх Москвы выбрал себе в Вильно именно униатский монастырь Святой Троицы, а не православный Св. Духа, – можно лишь предполагать, что для него, как и для всех великороссов, уния была чужой. Может он чувствовал себя твердым и неколебимым в своей православной вере, а Св. Троицу выбрал из любопытства, ибо до сих пор ничего такого чудного не знал и не видел. Но закончилось все неожиданно: в этом униатском монастыре он нашел церковные обряды, хранимые в большой чистоте и благолепии, – и дух монашеской ревности – такой, какого до этого не встречал. Да еще и знания. Много вечеров и ночей провел он в беседах с Рутским и Кунцевичем, пока не принял унию в 1616 году, оставшись затем в монастыре до самой своей кончины. Сделал это по убеждениям, а не под давлением, ибо если бы захотел остаться православным, то любой православный монастырь принял бы его с почетом. Больше всех удивлялся пан Сапега, который знал Московию и просто суеверное отвращение тамошних православных к католичеству. Находясь в Москве, он видел, как бояре, поздоровавшись с ним за руку, тайком бегали к посудине с водой, чтобы руки помыть, так как считали себя запятанными даже простым прикосновением латинской руки, а потом еще и сплевывали через плечо от

сглаза. А тут – смотри! – сам патриарх, москвит, дал себя убедить. Также и Эммануил Кантакузин стал униатом и так привязался к Иосафату, что уже никогда его не оставлял, пошел вслед за ним в Полоцк и стал там управляющим архиепископских палат. Дал он потом, на процессе, одно из лучших свидетельств об Иосафате, и свидетельство это было достоверным, так как ни родственником ему не был, ни, воспитанный с детства в православии, души своей церковной не изменил, – лишь избавился от преубеждений.

8. Пожилой митрополит Потий умер 13 июля 1613 года. Рутский как его помощник стал в 1614 г. митрополитом. А Кунцевич, назначенный архимандритом в монастырь Св. Троицы, стал там игуменом. Несмотря на все преграды, Уния ширилась. Виленский кастелян Иероним Ходкевич обратился в эти годы к Рутскому и Кунцевичу, чтобы приняли в свое ведение еще и архимандрию в Супрасле, в Троцком воеводстве, в трех милях от Белостока, – это было начинание Ходкевичей. Также Григорий Тризна, шляхтич древнего рода, просил Рутского принять в попечение монастырь в Бытени, в Новгородковском воеводстве. Монастырь построил Тризна и подарил его василианам. Пошло туда несколько монахов нового поколения из Св. Троицы... Монастырь очень быстро и хорошо развивался под непосредственным руководством и под опекой Иосафата, и в XVII столетии стал первым монастырем виленской Унии, предназначенным для воспитания новициев – послушников. Так как новициат, как отдельное место приготовления, воспитания и формирования будущих иноков, до сих пор был неизвестен в Восточной Церкви, Рутский пошел здесь по пути, проложенному Западной Церковью, используя вместе с тем и восточный монашеский опыт, а Иосафат был покровителем воспитанников.

Были еще Жировичи, дар смоленского кастеляна, товарища Тризны Ивана Мелешко. Мелешко перешел в Унию под влиянием Иосафата Кунцевича и стал его другом, подарив ему это село, где была церковь со старой чудотворной иконой Богородицы, широко известной и притягивающей толпы верующих. Церковь восстановили и расширили, а Лев Сапега, великий канцлер литовский, пожаловал построенному Иосафатом монастырю землю и несколько сел. Пришли сюда и виленские василиане. Больше 200 лет, вплоть до административной ликвидации Унии царским правительством, Жировичи были гордостью василианского униатского чина в Беларуси, и возможно это стало благодаря Иосафату, который прославился здесь как проповедник Слова Божьего, миссионер и исповедник. Солтан, белорусский магнат, встретил Иосафата проклятиями и оскорблениями. Но прошло немного времени – и его приобрел Иосафат для Унии. Когда Иосафат прощался с Жировичами, в большом монастыре работали уже разные школы и книжная печатня. Жировичи стали для Литвы и Беларуси тем, чем Ченстохова – для Польши, и не одни только Литва и Беларусь шли туда с молитвой, прошением и благодарностью. Видела Богородица Жировичская Владислава IV, Яна Казимира Собеского, Августа II и Станислава Августа. В 1790 г. папа Бенедикт XIII прислал Жировичской Богородице золотую корону, которой короновал ее митрополит Афанасий Шептицкий. А где-то в начале XVIII ст. один неизвестный монах нарисовал на стене василианского монастыря в Риме копию Жировичской Богородицы. Она тоже стала чудотворной, и римский люд почитал ее под названием «Мадонна дель Раскольо».

Три года (1614-1617) довелось Кунцевичу исполнять обязанности архимандрита монастыря Св. Троицы. По праву мог он чувствовать себя довольным и счастливым: монастырь, в который в 1604 году пришел он единственным новым монахом, спустя это краткое время, отстроенный и расширенный насчитывал уже несколько десятков молодых, просвещенных новым духом монахов, не считая тех, что отправились в Супрасль, Бытень и Жировичи. Потий утвердил легальное существование Унии и истощил силы свои ради ее утверждения, Рутский дал монастырю организацию и науку, но дух в нем царил его, Кунцевича. Это он был учителем, проповедником, исповедником, живым примером, пылающим факелом. Он мог бы гордиться этим, но никогда и не думал о том. И, возможно, был прав. Даже факел не запалит огня, если нет соответствующей растопки. Уния не давала никакой выгоды. Те, кто хотел подняться повыше, кого интересовала карьера, переходили в латинское католичество, зная, что почти никто из поляков не может понять, что это за чудо такое: восточная русинская католическая Церковь. Много и молодежи, украинской и белорусской, думая о карьере, шло в иезуитские коллегии и принимало римокатолическую веру в западном обряде. Уния не была искусственным образованием, навязанным людям или же выращенным в теплице, как кое-кто сегодня думает. И были у нее очень могущественные противники – от Острожского до казачества, – а государственная и церковная польская «поддержка» была очень слабой. Многие католики ее не воспринимали. Если, несмотря на это, Уния сохранялась и расширялась, то, видимо, имела она свою внутреннюю силу и жизнеспособность, так как иначе никакой факел не смог бы ее разжечь. По милости Божьей и по Его воле Кунцевич был факелом, но разве не был он прав, когда не видел своей заслуги, зажигая только то, что по Божьей милости вырастало в людях без его помощи. Да, он звонил, пробуждая, и зажигал свет в кельях, учил, направлял и укреплял, соединял с Богом в Святах Таинствах. Но кому бы это все было нужно, если бы не желали соединения?

Был он неисправимо смиренным. Лишь к алтарю надевал пышные церковные ризы, ибо этого требовало величие Литургии и древняя традиция Восточной Церкви. Но даже позже, уже будучи архиепископом, не оставил монашеского клобука и одежды из самой простой материи, хотя другие ходили в шелках. Когда Григорий Тризна подарил ему меха, (просил Рутского, чтобы приказал Иосафату ради послушания принять этот дар), Иосафат принял, но немедленно пошил из этого меха теплые шапки для братии. Когда ему говорили, что он недоучка, отвечал спокойно: «А кем же может быть владимирский купчик?». Когда его оскорбляли, говорил: «Брат, ты, наверное, прав, если имеешь в виду Кунцевича. Но ты обижаешь человека, который всем сердцем отдался Богу и хочет быть другом для таких, как ты».

Не задевала его людская озлобленность, носил он в себе мир Божий. В этом своем смирении оказывался он непобедимым, и многие из обидчиков поняли сокровенную истину, что есть только одна честь и одно достоинство, которых нельзя ни уязвить, ни нанести им ущерба, и тайна их – смирение. Многие люди, им убежденные, начинали с проклятий и оскорблений, а потом видели, что только самих себя оскорбляли. Кунцевич был глубоко добрым человеком. Когда встречал тех, кто никак не мог выпутаться из пучины греха, всегда к нему возвращаясь, не возмущался и не терял терпения. Говорил такому несчастному: «Не теряй надежды. Я сам буду молиться за тебя, сам понесу епитимию за то, что ты упрямо грешешь». Так и не покидал этих молений и епитимий за грехи других, и ничто так не меняло человеческих сердец, как сознание столь великой любви братской. Свидетельствовал позже один из монашеской братии, что Иосафат ночью, думая, что все уже спят и никто не слышит, вставал и вполголоса молился с большой болью и сожалением за каждого, кто из-за слабости не может избавиться от грехов, и за каждого себе спину плетью стегал. Один неугомонный человек, что многих уже саблей покалечил, а потом каялся в своей вспыльчивости, застал Иосафата зимой на кладбище, стоящего на коленях в снегу у могилы человека, которого сам недавно обидел. И сам Иосафат исповедовался очень часто, а своему исповеднику сказал однажды с улыбкой: «Отец, с какой радостью носил бы я тебя везде с собой».

Люди все время тянулись к нему. Он и вправду был «душехватом» и не только потому, что ловил души для Бога и единства, но и потому, что и несоединенных умел любить за их человеческие и христианские достоинства, за все доброе, по крайней мере, за благие намерения. Отсюда и дружба, которую он нередко водил с иноверцами. Впрочем, вызывал он и ненависть. Была это ненависть особенная, так как, чаще всего, возникала по субъективным причинам: верили слухам, что Иосафат продался латинникам и старается погубить Церковь, причем самым хитрым способом – под видом защитника и друга. Принимали его даже за мага, ибо какой же иной силой может человек пленить других? Принимали и за слугу дьявола, который в своей хитрости принял вид святого. Это могло казаться темнотой и суеверием, но как же быть с простыми словами просвещенного человека, иезуита о. Лосенского из Полоцка, который свидетельствовал: «Мое сердце устремилось к нему... Я любил смотреть на него и его слушать»? Что делать с кальвинистом, который учился в швейцарских университетах, но, перейдя в Унию, навсегда остался в убеждении, что Иосафат Кунцевич – это Ангел, ниспосланный Богом для спасения людей? Что же удивительного в том, что простые люди, в своем недоверии, желали видеть в нем слугу дьявола и пылать к нему ненавистью? А случались и события достаточно удивительные, будящие воображение. Один шляхтич спустил на него собак, когда Иосафат хотел говорить с ним о вопросах веры. Но собаки, всегда до того послушные хозяину, легли и не двигались. То же попробовала сделать жена капитана Кишки, но собаки, которые уже не одного человека разорвали, стали к Кунцевичу ластиться и тыкались в него головами, чтобы погладили. Женщина расчувствовалась и попросила об исповеди. Шляхтич Сорока, которого не убедили ни слова Иосафата, ни слезы собственных дочерей, в тот миг, когда Иосафат, садясь уже в бричку, сделал над ним знак креста, бросился вперед, не дал сесть и, встав на колени, стал громко исповедоваться. Не он один покорился Иосафату, покорялись и более значительные люди: вот хотя бы будущий полоцкий воевода, князь Друцкий-Любецкий, непреклонный кальвинист.

Одно из двух: или он человек Божий и святой, или он – сам воплощенный дьявол. Ведь учат Отцы, что и сатана был прежде ангелом, а сила у него, падшего, осталась, а может, – и внешность. Так как вся мерзость сатаны пребывает внутри, в двуличии и лжи, а внешний вид может быть и привлекательным. Немало было тех, что считали его совратителем и потому ненавидели, убежденные, что сопротивляются злу и не дают себя обмануть.

Знали его и как человека, что, как казалось, больше любил врагов, чем друзей. Когда рядом с ним собиралась толпа, и тяжело было к нему протиснуться, кто-то посоветовал: «Если хотим с ним дружески поговорить, тогда нужно что-то такое сделать, чтобы считал нас своими врагами». И действительно, этот способ работал. Кто хотел Иосафата в дом пригласить, самым простым было с приятелем поссориться, и тогда Иосафат сам хватал его за рукав и говорил: «Не жалей для меня хлеба: нужно мне сегодня поужинать у тебя». А когда приходил, увещевал о согласии и единстве. Очень не

любил он всякий раздор.

Управителем был удивительным, так как, правду говоря, выносил из монастыря беднякам все, что только мог.

Когда его спросили, каким способом при таком хозяйствовании большая монашеская община все-таки как-то живет, архимандрит ответил искренне: «Не знаю. Бог дает».

Воспитал немало монахов нового духа, которые умели жить по-доброму, действовать по-доброму и по-доброму умирать: таких, как ученик его, о. Семен Яцкевич, которого уважали и простые люди, и польские короли, и который умер тихо, в молитве, говоря: «Верую, Господи, надеюсь, люблю, сожалею».

Не прошло и ста лет, как все русинские епархии в пределах польского государства, кроме одной, стали униатскими, а все те, кто в XVII столетии тихо и скромно работал для этого, были питомцами Иосафата.

9. Архимандрит Иосафат, если бы даже очень хотел, не мог жить так же, как жил обычный монах Иосафат, так как приходилось ему часто выезжать – то в Бытень или в Жировичи, то в Новгородок или в Руту, к Рутскому, который с там жил. Он превращал эти выезды в апостольские странствия и с равной охотой посещал как дворы вельмож, так и сельские дома, да и городские тюрьмы.

В 1614 г. пришлось ему ехать с Рутским в Киев. Рутский был киевским митрополитом, но, как и его предшественники, проживал в Вильно или в Новгородке. По своей должности был он также архимандритом Печерской Лавры, самого старого и большого украинского монастыря. Был он им лишь по имени, так как Киев до сих пор не принял Унии. Даже энергичный Потий, имея то же звание, не отважился туда приехать.

Но они поехали. Прибыв в Киев, Кунцевич ни одного дня не терял: он сразу же пошел к Лавре, хотя Рутский, тревожась, отговаривал его. Местность в то время была покрыта лесом, подходящим к самому городу. И в этом лесу Иосафат, идя в одиночестве, встретил охотничью дружину с гончими. Человек щегольского вида и с панским лицом, ехавший во главе дружины, увидев одинокого монаха, приказал ему остановиться и, не слезая с коня, спросил, кто он такой. Сказал ему, кто такой есть: Иосафат Кунцевич, архимандрит виленского монастыря Святой Троицы. В Лавру идет посетить монахов, мощам святых поклонится. А у человека этого рука с рогатиной дрогнула, и стал он обзывать его предателем и отщепенцем, заслуживающим смерти. Понял Кунцевич, с кем имеет дело: это был Иосиф Курцевич, потомок старинного украинского рода, в монашестве Иезекииль, православный архимандрит Лавры. Слышали они раньше друг о друге. Теперь встретились. Обождав, пока не утихнет приступ гнева, Иосафат сказал: «Удивляюсь, что не нашел я в правилах святого Василия разрешения монахам участвовать в охоте». Это могло показаться заносчивым, но Курцевич, посмотрев ему в глаза и вспомнив, что Кунцевич один, беззащитный, стоит между ними, успокоился. Бесславно было бы беззащитного убивать, а что касается правил, то верно Кунцевич говорил. Повернул коня и поехал в Лавру. Так и шел Кунцевич среди вооруженных людей, уже не один.

В Лавре ударили в колокола, и монахи сбегались в трапезную: прибыл Кунцевич! Поднялся неимоверный крик, и многие хотели руки на него наложить. Одни его поносили, другие насмехались, а более горячие кричали, чтобы к Днепру с ним – и в воду: пора кончать с предателем и обманщиком, разрушающим православную Церковь!

Но поднялся с кресла Курцевич и успокоил крик:

– Чего ты хочешь?

Сказал Иосафат:

– Братья! Пришел я сюда, чтобы поклониться древним святым местам, отдать честь мощам слуг Божьих и увидеть достопримечательности славного Киева. Нет у меня злых намерений, и желаю я вам только добра. Я всем сердцем радуюсь, что вижу здесь так много монахов и с удовольствием затворюсь вместе с вами, если словами Святого Писания и наших церковных книг, книг Отцов нашей Церкви, докажете мне, что мой путь ошибочен.

Наступила тишина, а сам Курцевич, желая успокоить волнение, повелел принести хлеб и соль. Таким был старинный и достойный уважения обычай, что, если с кем-нибудь хлеб преломляли, то человек этот был уже неприкосновенным. Но Иосафат настаивал на книгах. Принесли и их. Отчитал им архиерейскую молитву Иисуса Христа на Тайной Вечере и все грозные притчи о разделившемся в себе царстве, а также слова о ключах Петровых, и Послания Апостольские, требующие христианского единства и взывающих о единении. Из старых славянских церковных книг прочел о крещении Руси, что состоялось еще в единстве Царьграда с Римом. На основании родных русинских хроник показал, что Киев не раз и не два общался с Римом даже тогда, когда другие от того отступили, да и что сам Царьград, будучи еще свободным, принял Унию. Разве забыли митрополита киевского Исидора? Принял его, сторонника унии, Киев, и только

Москва загнала в тюрьму.

Читая из церковных книг, показал, что и сами они молятся за то, что минутой раньше проклинали. Так предатель ли он? И как, собственно, предает Господа нашего, Иисуса Христа, – творя и возвращая единство?

Не могли ему ничем возразить, но сами стояли на своем, не давая себя переубедить. Качали головами и говорили: «Верно называют тебя душехватом, архимандрит!» А другие говорили то, что слышал уже не один раз: «Если бы ты был нашим!»

Разве что в том их убедил, что он – человек добрых устремлений, знающий Святое Писание и церковные книги. Еще добился того – а было это немало – что большой толпой и уже без былой враждебности проводили его к жилью Рутского, который уже потерял покой, а завидев издали толпу печерских монахов, был уверен, что несут ему мертвого Иосафата.

Ночью пришли к нему двое православных священников, Антон Грекович и Иван Юзефович. Они, а также мещанин Иван Ходька, присоединились к Унии. Все они должны были погибнуть: порубили их вскоре казаки за Унию.

Встретился еще Кунцевич и беседовал со своими родственниками, которых трое было на Казатчине. Беседы с ними, искренние и откровенные, очень емугодились: многое он понял и сильно встревожился.

Казаки были реальной силой, которая с каждым днем росла. Не были они людьми особо благочестивыми: хорошо, если кто-нибудь из них несколько раз в год посещал церковь; о вере не знали почти ничего. Бытовали и песни казацкие, в которых звучали насмешки: казак, увидев в степи что-то черное с бородой, не знает, козел ли это, или поп? «Славные хлопцы-запорожцы век свой вековали, Церкви не видали».

Нет, религиозными они не были. Но казатчина на Украине была опорой православия, даже в церковные братства казаки записывались целыми общинами. Униат в их глазах был человеком, который принял панскую, ляхскую веру. А этого было достаточно, так как были у них с панями свои счеты.

Все еще можно было и выиграть, и проиграть. Но видно было, что творится неладное. А кто же жил здесь? Еще не так давно поселения заканчивались возле Каменца, Канева, Черкасс, а на Заднепровье – возле Чернигова и Путивля. Дальше до самого Черного моря – Дикое Поле, опасные и прекрасные земли, но также и свободные. Местного люда там было мало, но потом бежали туда, в поисках воли, крестьяне из Польши, из Московии, из Валахии, из Молдавии, даже из Германии. Вскоре оказались там потомки двадцати трех народностей, иногда необычных – встречались там не только грузины или черкесы, но даже испанцы, – но очень скоро все они слились, сплывались в единое украинское общество. Земля была здесь хорошая и пригожая: влюбился в нее не на шутку сам будущий митрополит Могила из рода валашских хозяев, человек света и совсем не провинциал. Ехали туда также шляхтичи буйного нрава. «Еще на нашей памяти приходили туда рыцари, чтобы в битвах с неверными попытать счастья, а позже стали прибывать и те, кто в Польше натворил каких-то безобразий», – писал Бартош Папроцкий. Был это люд военный, у которого в крови были свобода и отчаянность. Кто под конец XV ст. уничтожил Очаков, турецкую крепость в дельте Днепра? – черкасский староста Богдан Глинский с казаками. Кого там еще видели в том же столетии? Великого пана Юрия Паца – также с казаками. Кто ходил позже? Юрий Язловецкий, Семен Пронский, Сенько Полозович... А сам князь Острожский, Потоцкий, Збаражский и Корецкий не принадлежали ли к казачьему товариществу? Кто первый заложил основы казачьего порядка? Да ведь Остап Дашкович, черкасский староста, шляхтич, который и в Крыму бывал с казаками. Барский староста Яков Претвич, побратавшись с казаками, провел семьдесят боев и во всех одержал победу. Много неудобств создавали казаки для турок и для Крыма, а султан, жалуясь королю, равно роптал и на своевольное казачество, и на пана Сангушка, что также воевал в степи.

А кто в середине XVI ст. основал первую регулярную Запорожскую Сечь? Предок Иеремии и короля Михаила, князь Дмитрий Вишневецкий, украинский магнат, который ради Дикого Поля бросил свои имения и спокойную жизнь. Человек буйного молодечества и сумасшедшей отваги, закончил он свою жизнь на крюке в Стамбуле, где, подвешенный за ребро, три дня умирал, проклиная Магомета, пока его не добила стрелой; султан предлагал ему, чтобы, приняв ислам, он стал вождем его армии, и дочь свою хотел за него отдать. А он не хотел. Легендой стал Дмитрий Вишневецкий, песни о нем веками поют в Украине.

Правда, неудобны казаки были и для Речи Посполитой. Земля их формально принадлежала Речи Посполитой, как и сами казаки, но войны вели они, никого не спрашивая, а королю приходилось оправдываться. Однако могло из этого вырасти большое и хорошее дело: железная крепость на пороге чудесной и богатой земли, что плодоносила так щедро, как никакая другая. Казатчина уже в XVI столетии была самостоятельной военной и политической силой; сама еще она об этом не знала, а польская Речь Посполита и не хотела знать. Был князь волынский – Богдан Ружинский, который первым назвал себя

гетманом запорожских казаков, – он погиб под турецкой крепостью Аслам-Кермень. Был Иван Подкова – отчаянные казацкие походы устраивал чайками на Черное море. Историк Мустафа Наим писал о казаках: «Чайки их, связанные из камыша и лозы, не тонут, даже когда поднимается мощная волна, и они почти наполняются водой, а гяуры, затопленные до пояса, бьются до самой смерти. Смело можно сказать, что более дерзкого народа, чем казаки, который бы меньше держался за жизнь, не найти». В 1602 году казаки разбили турецкий флот возле берегов Малой Азии. В 1608 году взяли Варну, а в Крыму – Перекоп. Крепость и город Синоп тоже взяли, а султан приказал повесить великого визиря, который не сумел организовать оборону. В 1615 году восемьдесят казацких чаек с невероятной дерзостью подошли к Стамбулу, и отсветы пожара видел сам султан: сожгли предместья столицы. Отправили за ними погоню, могучий турецкий флот догнал казацкие чайки под Очаковом. Казаки приняли морской бой и, хотя это невероятно, разгромили флот, сожгли немало кораблей, и это – на глазах турецкого гарнизона в Очакове. Позже, когда готовился поход против казаков, янычар нужно было плетями загонять на корабли: боялись.

Король Баторий пробовал сначала упразднить самостоятельность Казатчины, но скоро сориентировался в ситуации и создал первое регулярное запорожское войско, записанное в реестры. У реестровых были свой суд и свои арсеналы, лазареты, была воинская плата и освобождение от налогов. Подчинялись они атаману и были вольными воинами. Король дал казакам города Трахтемиров и Чигирин, а в разных конфликтах нередко принимал их сторону. Так родилась на Украине «баториева легенда».

С того времени реестровые казаки принимали участие почти во всех польских войнах, на всех фронтах, в сотнях боев. Могло все это добром кончиться, ибо ничто так не связывает, как кровь, вместе пролитая в бою. А несчастье было в том, что Польша не понимала ситуации и не вела честной игры. Когда шла война, и нужно было много сил, тогда увеличивались казацкие реестры и всех манили казацкой волей. И шел казак на войну. Если погибал, оставалась слава. А если живым возвращался, узнавал, что реестры сильно уменьшены, а он, как холоп, должен идти в крепостные. Так на богатой земле вырастали громадные имения магнатов: некоторые из «королевичей» имели годовые доходы вдвое больше, чем вся государственная казна. И кто же должен был пахать? Для работы нужны руки, а арендаторы и старосты были хуже пиявок. Прекращали существование вольные поселения. Три дня барщины с собственным скотом, дань зерном, каплунами, курами, деревом, десятина со свиней, баранов, меда, овощей, бесплатная служба в любое время. И еще большие злоупотребления. «Не желая его милости пану судье девки своей отдать, Иван Кучма сидел в тюрьме три недели, пока девку не отдал, золотых двенадцать и корову». Обычные грабежи тоже случались. Без всякой причины «взял староста овец 75, котел один, тулупа два, кабанов откормленных два, готовых денег 50 золотых. У Елены Вишневички – овец сто с ягнятами, баранов сорок, пчел двадцать пней» и т.д. Вот и закипала в сердцах людей злоба и обида. «В Черкассах, как в городе, так и на хуторах домов казацких непослушных больше тысячи». «Непослушными» были те, кто, узнав свободу, не хотел идти в подданство и совсем не спешил под плетку эконома. Да и кто бы захотел?

Под конец XVI века казацкий атаман Криштоф Косинский поднял казацко-крестьянское восстание. То же сделал позже Северин Наливайко, «человек простого происхождения, но необычайной храбрости», вместе с Лободой, а позже с Савулой. Окруженные под Переяславлем, шесть тысяч человек (в том числе лишь три тысячи боеспособных, а остальные – раненые, больные, женщины и дети) – подписали капитуляцию. Шляхетским словом была обещана им жизнь, но когда, сложив оружие, стали выходить из лагеря, шляхта бросилась искать своих подданных, и началась резня безоружных. Не сдержали шляхетское слово. Наливайке отрубили голову в Варшаве. «Был это человек достойный и воин, каких поискать», – отмечал Бельский.

Можно ли верить ляхам? Однако Казатчина хотела мира. Когда началась война за Инфлянты (польское название Ливонии в 13 - 16 вв. - *прим. ред.*), на нее пошло более двух тысяч казаков с атаманом Кишкою. Это был тот самый атаман, который когда-то, захваченный в турецкий плен, 25 лет плывал на галерах, а в 1569 году организовал бунт гребцов, разбил турецкую охрану и вернулся на Сечь. А теперь он вместе с поляками овладел могучей шведской крепостью Вольмар. В походы обоих Лжедмитриев пошло больше десяти тысяч казаков, и не только ради трофеев. Под Смоленском было у Сигизмунда III 30 тысяч казацкого украинского войска. С Владиславом тоже должно было пойти 20 тысяч. Польская Речь Посполита опять по-своему заплатила и отблагодарила казаков за участие в московских войнах: когда были уже не нужны, реестр сократили до трех тысяч. А остальных – в холопы! Это было, как если бы кто-то лил кипяток на огонь в закрытой бане.

А все-таки... Этого уже Кунцевич не мог знать, и недалеко уже было то время, когда в 1621 году двинется на Польшу армия султана Османа III, у которого было почти 100 тысяч отборного войска. Речь Посполита смогла поднять лишь 30 тысяч. Сам король, его милость, просил у казаков помощи. И пошли, не подвели. Атаман Конашевич-Сагайдачный привел еще 30 тысяч, бился, как дьявол. Погибло три

тысячи, а еще больше умерло от ран, болезней, холода и голода. Сам Сагайдачный тоже умер от ран. Но победа была за польско-казацким войском.

О казаках писали стихотворные оды и говорили, что «заслужили казаки от Короны венец из роз». Но стихи стихами, а политика политикой. Спасенная казаками Речь Посполита отплатила сокращением казацкого реестра до 5 тысяч и ликвидацией вольностей запорожских. Герои Хотинской войны должны были покинуть низину Днепра и вернуться под панскую власть – в конце концов кто они, как не разгулявшиеся холопы! Именно так и должно было вскоре произойти. Были у этих людей серьезные причины для гнева и сожаления. Но долго еще было тяжело порвать старые отношения. Слишком много было родственных связей, много сходства в характере и темпераменте. Польские шляхтичи легко делались казаками, а казацкие старшины так же легко перенимали шляхетские манеры. Еще в конце XVIII ст. царица Екатерина ненавидела Сечь и Украину по той причине, что для нее страна эта была слишком чужой, зараженной «польской свободой». Последнего кошевого Калнышевского наградила она золотой медалью за турецкую войну, а сразу же после этого выслала на Соловки, так как, по ее мнению, – а этого не могла она потерпеть – был он слишком похожим на проклятых поляков прошлого и мог не согласиться с новой жизнью.

В начале XVII столетия это братство казаков и поляков, очень нелегкое, израненное, политое кровью, но, однако, существующее, еще легко было заметить. Хотя и было бы это очень трудно, но крайне важно было по-настоящему понять казачину, а вместе с ней – и украинское «холопства», отличное от всякого другого. Нужно было узаконить и на уровне государства признать вольную казацкую республику над Днепром, которая и так была фактом – вопрос был лишь в том, кого она поддержит, против кого повернется. Время было посмотреть чуть дальше, чем на кончик собственного носа. Все можно было спасти, и было бы это к большой взаимной пользе. Правда, никто не может обогнать свою эпоху. Но с фактом можно было смириться. Что тогда произошло бы? Кто-то из украинских вельмож мог вспомнить о своем княжеском венце, казацкие старшины пошли бы в шляхту и, наверняка, не один бы сел на коня за счет убогого холопа. Да ведь и сам Богдан Хмельницкий не видел ничего зорного в том, что союзники-татары берут ясырь с украинских сел, так как и для него холоп был холопом. Позже, в XIX веке, великий поэт украинский, Тарас Шевченко, которому никогда не давали забыть, что он холоп и вышел из крепостных, вложит в уста матери-Украины твердые слова, обращенные к прославленному в легендах запорожскому гетману:

«Ой, Богдан, Богданчик,
Неразумный сын!..
Если б знала,
В коляске бы задушила,
Под сердцем бы усыпила...»

Да, не было бы никаких чудес. Но было бы и важное отличие: это украинский казак ограбил бы казацкий хутор, а не польский арендатор или староста. Остались бы социальные конфликты, но не национальные. Страна росла бы и развивалась по-своему, хотя и в духе своего времени.

Нужно было уже тогда сделать то, чего потом пытались достичь в Гадячском договоре гетман Выговский и могущественный украинский пан Юрий Немирич, человек большого масштаба и европеец, не хуже великопольских панов: республику трех народов, в которую народ Украины должен был войти как вольный с вольными, равный с равными. Но в 1666 году было уже ровно на полстолетия поздно: слишком много было крови, слишком много сожженной земли, слишком много белых костей в степи, слишком много злой памяти. Для обоих народов это стало первым гвоздем в гробу их согласия. Да и польская Речь Посполита уже не была после войн казацких и шведских такой же, а стала как бы изнутри выгоревшей и опустошенной, запуталась сама в себе. Казацкие старшины и вправду пошли в шляхту, а когда гетман Тетеря появился в кунтуше, варшавский люд спрашивал, что это за сенатор. Жизнь, однако, не позволила этому утвердиться: Выговского поляки расстреляли как предателя (а вскоре расстреляли и того, кто расстреливал), а Немирича убили крестьяне (тоже как предателя). Слишком поздно было. Именно теперь был, может, предпоследний шанс. Но колокола слышно не было, а если кто и услышал его, так руки были связаны.

Будучи в Киеве, дни и ночи беседовал Кунцевич со своими родственниками из Запорожья. Последний, кто с ним прощался, был словно с картины: смуглый, с глазами как миндаль, нос с горбинкой, в кунтуше, с хохлом на темени и с усами, что лишь тогда считаются за усы, когда можно их за уши закладывать.

– Хорошо было бы ляхам и полезно иметь за спиной друзей в Украине, вольных людей запорожских, – пробурчал казак.

– Хорошо было бы и Речь Посполитую иметь за плечами дружескую, – ответил эхом Кунцевич. – ибо

куда же и вам возвращаться?

– Ты, Иосафат, за воссоединение?

– Да. Я за воссоединение.

– Бог в помощь. Прощай, брат.

Грустным возвращался Иосафат. В виленском монастыре заметили, что в свои молитвы внес он новые темы. Всегда молился, чтобы вместе были Петр и Андрей... чтобы сошлись Рим и Восточная Церковь. А теперь еще, чтобы едилилась Русь-Украина...

10. Летом 1617 года на василианском капитуле митрополит Рутский вручил Иосафату грамоту о назначении его коадьютором (помощником) полоцкого архиепископа с правом наследования и, одновременно, епископом витебским. Кунцевич с неохотой принял это назначение: он чувствовал себя в первую очередь монахом, а занятие этой должности означало конец монашеской жизни. Но он обязан был принять, так как Рутский ему ясно представил: полоцкому архиепископу Гедеону Брольницкому 90 лет и он полупарализован. Огромная архиепархия, охватывающая практически всю Беларусь, фактически лишена пастыря, а такого быть не должно. А у митрополита нет никого, кто был бы достойным и более способным к тому, чтобы идти в Полоцк.

В воскресенье, 12 ноября Рутский рукоположил Иосафата в епископы. Морозною зимой 1618 года, в снежную метель, двинулся санный обоз через смоленские ворота на восток, а вел его от имени короля Януш Тышкевич, будущий Трощкий воевода, униат.

Въезд в Полоцк, связанный со вступлением на архиерейский престол, прошел очень торжественно и величественно. Полоцкий воевода Друцкий-Соколинский приказал стрелять из замковых пушек, почетную сотню стражи расставил от Двины, и вместе с самыми знатными шляхтичами, представителями правительства, бурмистром и советниками приветствовал Иосафата возле городских ворот. В этих же воротах сооружен был алтарь, и Иосафат в литургических облачениях отслужил четырехчасовую Службу Божью. После этого опять выстрелили из пушек, зазвучали колокола всех церквей и костелов, и процессия с пением двинулась в кафедральный собор. Несли крест и хоругви, шли хоры и униатские священники в церковных ризах с диаконами, а за ними Иосафат Кунцевич с пастырским жезлом в руке, сопровождаемый двумя монахами-василианами. Следом шли сенаторы, воеводы Трощкий и Полоцкий, полоцкий капитан Корсак, тоже униат, земские начальники, судья Щитович и паны шляхтичи, а воинская сотня часто палила из ружей для большей пышности. Под рев пушек Иосафат входил в кафедральный собор. Собор был старый, во имя святой Софии, стоящий с XIII века и довольно разрушенный – точное отражение архиепархии.

Иосафат просил иезуитов и латинское духовенство не входить в собор во время торжеств. Вот и не вошли. Но когда кто-то из толпы вслух спросил: «Не вошли ли иезуиты в церковь?», кто-то другой крикнул: «Вошли!», – и тогда снова первый: «Тогда пропала наша Церковь!»

Иосафат уже понял: будет тяжело. Вспомнил еще: в предместье Полоцка какой-то человек продрался сквозь стражу и, склонив перед ним заросшее бородой лицо старика, спросил:

«Владыка, твердо ли держишься русинской веры?» А из толпы кто-то крикнул: «Если идешь с добрыми намерениями, приветствуем тебя! Если же нет, то лучше бы ты не входил никогда в Полоцк!»

Помолился кратко перед царскими вратами. Вывели его на епископский престол. Полоцкий пресвитер начал петь архиерейскую Службу Божью. После Литургии пошли все к Гедеону Брольницкому: тот был в беспамятстве и еле мог говорить. От того времени он недолго прожил, и все, даже неблагосклонные, должны были признать, что его коадьютор, епископ-помощник, заботился об умершем, как об отце родном.

Закончились торжества и приемы, началась работа. А реальное положение вещей состояло в том, что вся эта страна, Беларусь, была тогда в религиозном плане как будто без хозяина. Умиравший владыка Гедеон лишь постольку был униатом, поскольку признавал верховенство митрополита Рутского. Народ и шляхта крепко держались русинской веры, но богословом здесь никто не был: даже священники имели очень незначительное религиозное образование, не знали катехизиса, а иногда – и десяти заповедей. «Русинская вера» – это были восточная литургия, церковный календарь, обычаи и унаследованные от предков иконы. Также особый тип интеллектуальности и унаследованное веками глубокое недоверие к любому «латинству», в котором видели покушение на русинскую веру и всякую дьявольщину.

«Если приходишь с добрыми намерениями»... Пришел Кунцевич с добрыми намерениями и очень энергично начал их осуществлять.

Навел порядок в полоцких церквях и завел ежедневную Службу Божью, которой до этого не было. Ввел поездки по приходам – а по селам немало было таких, кто впервые видел епископа и слышал проповедь. Отстранял от служения пьяниц и распутников. Встречались здесь священники-двоеженцы,

даже троеженцы, которые вопреки церковным уставам, овдовев, брали вторую или третью жену, так как прежний епископ – тоже вопреки канонам – разрешал. Поступил Кунцевич по-людски: не выгнал их, отягощенных большими семьями и едва дышащих от страха, но запретил исполнять духовные требы и совершать Службу Божью. Назначил викариев – священников-помощников. В монастырях восстанавливал василианский устав. Щедрой рукой помогал беднякам, так что и в епископских палатах у него нередко обнаружилась нехватка средств.

Выступал против злоупотреблений мирян в Церкви, а было таких злоупотреблений очень много. Земли и достояния были разграблены. Кунцевич сам разыскивал в архивах документы и подавал иски в суд. В Полоцке, Могилеве, Мстиславле, Витебске сумел через суд вернуть Церкви половину захваченной собственности. Поднимал из руин церкви, разваливающиеся по селам и городам. Выступал против владельцев имений, которые, не спрашивая согласия епископа, создавали по селам свои частные церкви без наделов, полностью зависимые от панской милости и прихоти. Когда пан бывал милостивый, а настоятель послушный, то жилось ему хорошо, но если в чем-нибудь помещику не угождал, то несчастная его судьба становилась хуже, чем у холопа на барщине.

Объезжал Кунцевич приход за приходом, поучая, произнося проповеди, укрепляя в добром, оказывая помощь. Ввел ежегодные синоды в Полоцке, Витебске и Мстиславле, чтобы хоть раз в год увидеть всех и выслушать; но и для них было важно ощутить себя пребывающими в единстве, а не вечно одинокими. Советовал, делал замечания, поощрял, укорял, учил. Закрепил на бумаге свои советы и указания, записал каноническое церковное право, изложил катехизис, издал это все в печатном виде и приказал раздать. С болью переживал, что во многих местностях шляхта вела себя с русинским духовенством, как с подданным «холопством», вмешивалась в дела приходские, в вопросы супружества, в дела о разводе. Запретил священникам обращаться в мирские суды: если кто провинился, то есть на это епископский суд. Встретил как-то случайно того человека, что из толпы крикнул ему: «Если с добрыми намерениями пришел...» Спросил: «Как же тебе, брат, теперь кажется? Добрые ли у меня намерения?» Тот ответил: «Да, владыка, добро делаешь».

Овладевал Беларусью, хотя знал, что никто не в силах за несколько лет выполоть предубеждения, нараставшие веками; для этого необходимо время, много времени. В обряды Литургии не ввел никаких изменений, наоборот, пристально следил, чтобы Служба Божья совершалась самым достойным и лучшим образом, точно по русинскому ритуалу, который сам он знал досконально. Установленный им порядок всем нравился, как и его забота об образовании. Владыка был доступным, справедливым, не гордым, легким в общении. Не скрывал, что является униатом. Когда, однако, говорил о единстве Церкви, а говорил об этом часто, то главным авторитетом были Святое Писание и Отцы Церкви. Слушали. Думали. Привыкали.

Своих латинских симпатий также не скрывал, как чего-то плохого. Не мог никто сказать, что полоцкий архиепископ – двуличный человек. А, тем временем, под рукой униата утверждался добрый порядок, поднимались церкви и монастыри, утверждались верность законам и обычаям, справедливость. Бывал он также и в Витебске. «Когда Иосафат, полоцкий архиепископ, владыка витебский и мстиславльский, в году 1618 прибыл на епископство в Витебск, приняли мы его как своего пастыря. А увидев его святость, набожную жизнь и доброе учение, обратив внимание на то, что никаких изменений не вводил в обряды Божьей Церкви, а во всем следовал постановлениям Соборов и правилам Отцов Церкви, и сохранял древнюю веру греческого закона, очень мы этому радовались и его, как пастыря своего, почитали и чувствовали его милость и отеческую любовь».

Могилев его не принял – потому, что было там церковное братство, достаточно обеспеченное листовками из виленского братства Святого Духа. Эти листовки утверждали, что Иосафат предатель, незаконный пастырь, поставленный на погибель Церкви. Потому и застал он в Могилеве закрытые ворота и вооруженных людей на стенах. Отступил и послал письмо королю. Канцлер Сапега по поручению короля рассмотрел дело и в 1619 г. за оскорбление короля и унижение законного епископа вынес смертный приговор зачинщикам бунта, а церкви на протяжении шести недель должны были перейти униатам. Смертный приговор не исполнили, так как Иосафат за осужденных заступился, а передачи церковью ждал он терпеливо не шесть недель, а шесть месяцев. Когда же ожидание оказалось тщетным, обратился к закону, чтобы не делали из епископа посмешище. Пришли к нему православные со взяткой: давали 30 тысяч флоринов, чтобы не проводил воссоединения. Сказал им: «Дары Духа Святого не продаются». «Не деньги мне ваши нужны, а души». Посмотрели на него удивленно. Могилев настороженно ждал передачи церковью латинникам, как об этом говорили листовки, но когда этого не произошло, успокоился. «Nonnes mutant mores» – «почести меняют нравы», и нелегко от этого уберечься. Кунцевич сумел. Сильно изменился характер его работы, служба и обязанности были другими, но сам он оставался все тем же и все таким же. В архиепископских палатах нашел самую маленькую комнатку и стал там жить, обустроив ее словно монашескую келью. Неиспользуемые помещения отдал бездомным и бедным жителям Полоцка,

хотя это кое-кому и не понравилось. Рутский хотел пошить ему шелковые одежды, в которых тогда ходили русинские епископы, но он сразу же отдал предназначенные для этого деньги на восстановление кафедральной церкви. Не нравилось шляхте, что архиепископ не заботится об «украшении» своего достоинства и унижает этим, как думали, достоинство Церкви. Отвечал он на это, что унижает только грех, а достоинство Церкви – в вере, надежде и любви; что стоя перед алтарем, совершая святые Таинства Божьи, он одевается пышно. «А после этого, уважаемый пан, я – опять убогий монах».

Кушал очень скромно и всегда не один, а вместе со всей челядью, а когда кто-нибудь из посторонних хотел придти, мог всегда сделать это без предупреждения; так каждый день собиралось за столом до 60 человек. Чего действительно не мог терпеть, так это безделья, считая, что это начало всех грехов. Таким образом, если кто-то хотел быть при нем, должен был иметь какую-то работу и постоянное занятие, и среди челяди не было никого, кто слонялся бы без дела.

С деньгами всегда было тяжело у епископа; правду говоря, его домашним экономом было по-прежнему Божье Провидение. Но на учение молодых талантливых людей всегда должно было хватать. Если питал слабость к кому-то, то к родственникам: когда заехал к нему Григорий Островецкий из Запорожья, у которого не было денег на обратную дорогу, приказал Кунцевич выдать ему 20 золотых флоринов, а потом долго его мучила совесть, что у Церкви отнял. О Церкви он заботился во всем. Настойчивыми судебными процессами отвоевал немало наделов; основывал школы, восстанавливал церкви. На восстановление в Полоцке разрушенной кафедральной церкви XIII столетия выдал две тысячи венгерских талеров, поручив эту работу лучшим мастерам. Население Полоцка, видя, что архиепископ ходит в бедной одежде, но на церковные нужды никогда денег не жалеет, открыло свои кошельки.

Церковь была пятиглавой, с большим куполом посередине и четырьмя меньшими. Когда Иосафат начал капитальный ремонт, горожане добродушно смеялись, поглядывая на купола: «Смотрите, какой из него «папешник»! Признает только папу, а четырьмя патриархами пренебрегает». В их глазах самый большой купол символизировал Патриарха Запада, а четыре меньших – патриархов Востока. Иосафат начал с самого большого. Но и на меньшие пришла очередь; все работы закончил до своей смерти. А ведь это не была не единственная забота: обновленный полоцкий василианский монастырь стал центром монашеской жизни. Присоединил также монастыри в Могилеве, Черее, Браславе и Мстиславле, всего, таким образом, виленская василианская конгрегация насчитывала уже восемь монастырей.

Но больше всего труда и усилий потратил на обновление духовенства, так как здесь положение было критическим. Религиозных знаний почти совсем не было; бедность, гнетущие заботы о содержании семьи, отсутствие общения, разорванные связи между священниками, с церковным миром и епископской властью, распространение пьянства, взяточничества, выслуживание перед панами. Очень его это беспокоило, и он сильно старался, чтобы хоть что-то потихоньку изменить.

Сам Рутский был удивлен действиями Иосафата. Он знал его как набожного монаха, молитвенника и поборника божественных наук, но, выдвигая его, не был уверен, каким Кунцевич будет архиепископом. Позже Рутский писал: «Это было невероятным и достойным удивления: ведь когда кто-нибудь имеет способности к чему-либо, то обычно не способен в других делах, ибо все уметь невозможно. Но этот достойный удивления Человек Божий имел способности ко всему. Если казалось, что по своей природе он к чему-то не способен, то благодать Божья давала ему эту способность. Был человеком мысли и молитвы, любителем книг, монашеской кельи и уединения, но никто не умел так, как он, разговаривать с людьми, словно именно для этого родился и для этого был Богом предназначен. Все приходило к нему, и никто не уходил без утешения. Католики и православные, еретики и все остальные уважали в нем эту искру Божью. Оратор на амвоне, певец на хорах, – он все делал со вкусом и с любовью – проповедовал ли, читал ли, пел ли. Действительно, не встречал я другого человека, в котором все это было бы вместе собрано».

11. В 1620 году власти Речи Посполитой совершили ошибку, которая осрамила их своей бессмысленностью. Через татарские земли в Москву приехал Иерусалимский патриарх Феофан с целью посвятить в московские патриархи Филарета, отца царя Михаила Романова.

Кроме того, Феофан уговаривал царя, чтобы разорвал перемирие с Польшей. Этого Феофана, как посланника цареградского патриарха, пустили власти на территорию Польши и оставили без присмотра. Может показаться странным, хотя в действительности странным это не было, но Феофан одновременно был агентом султана. Это не удивляет, так как в этом конкретном случае интересы обоих доверителей были одними и не вступали в противоречие друг с другом. А именно:

Патриархату в Константинополе (Царьграде) дорого приходилось платить за свое существование, и Порты (турецкое правительство) получала с этого немалый доход. Ежегодно турки получали 20 тысяч пиастров (посчитано, что это соответствовало трем тысячам фунтов стерлингов золотом). Такую же сумму

составляла взятка каждый раз, когда выбирали патриарха, и султан разрешал выбирать того кандидата, который больше давал. Рекордная цифра была 36 тысяч пиастров. А если султан лишал патриарха головы, то опять нужно было платить. Кто платил? Главным образом греческие купцы, жившие в Фанаре, греческом квартале Константинополя. Они были богатыми людьми, но и им стало не хватать денег.

Царь оторвал Московию от Константинополя, дань из Москвы прекратилась. Речь Посполита осуществила унию на русинских землях, и дань тоже значительно уменьшилась, так как платили только православные, которых оставалось все меньше. Сохранение православия в Польше было в интересах как цареградского патриарха, так и султана. Кроме того, Польша была врагом Турции, и мир в ее границах не был для турков желанным. Нужно вызвать мятеж в этой стране.

Феофан сначала вел себя тихо, внимательно изучал обстановку и ничего не начинал. Терпеливо ждал вплоть до польского поражения под Цецорой, и никому и в голову не приходило им заинтересоваться. Но именно тогда он точно выполнил турецко-патриаршую миссию: тайком, не спрашивая согласия короля, восстановил в границах Речи Посполитой православную иерархию, подчиненную Константинополю. В Киевской Печерской Лавре, тайно от польских властей рукоположил он в киевские митрополиты Иова Борецкого, игумена Михайловского монастыря. На полоцкое архиепископство – Мелетия Смотрицкого против Кунцевича. В 1621 г. Феофан посвятил в Трахтемирове Иосифа Курцевича на владимирское епископство, а в Белой Церкви – на Луцк и Острог – Исаака Борисковича. Пинским епископом назначил грека Авраама, который его сопровождал. После этого спокойно уехал, а из Молдавии еще выслал письмо, в котором прославлял Москву, запрещал казакам против Москвы воевать, но советовал напоказ объявлять лояльность Речи Посполитой, чтобы укрепить православие. Король не признал этого акта восстановления иерархии, но ясно было, что со временем признает. Признает, хотя бы учитывая казацкую проблему.

Турция правильно предвидела: только теперь начался настоящий мятеж. Получив свою иерархию, православные подняли головы. Русин против русина. Согласно принципу «*beatus, qui tenet*» – «счастлив, кто имеет» – законно и незаконно стали хватать и загребать, правильно понимая, что когда дойдет до переговоров, лучше и выгоднее будет признать реально существующий *status quo*. Значит, нужно брать и держать.

Кунцевич получил вести, что польские епископы, находясь в Риме, наговаривают папе, что пора с Унией заканчивать, так как неизвестно, что это такое: католики восточного обряда, с восточными церковными правилами и восточным церковным календарем. Пусть переводит униатов в латинский обряд, а кто не захочет, пусть возвращается в православие. Лишь бы было спокойствие. Папа их не послушался, но слух такой прошел. Дошел он не только до Кунцевича и Рутского, но и до православных. Посыпались, поэтому, листовки, что распространяли монахи, а писали Смотрицкий и прочие: «Вот и показалась правда! Разве мы не говорили давно, что униатская иерархия – предательская? А особенно этот Кунцевич, изменник, обманщик, душехват, который, будучи папешником, этого не скрывает и Церковь Божью отдать хочет латинникам, чтобы ее совсем не было! Вот она – правда! С иезуитами связь поддерживает и с ними дружит, а не в иезуитских ли коллегиях заманивают нашу молодежь в латинство?»

Не был Кунцевич предателем Восточной Церкви, и даже в голову ему не приходило действовать ей в ущерб. Наоборот, поднимал ее и укреплял, – это тоже было очевидным. Но с иезуитами – и правда водил дружбу, хотя не все они думали так, как Скарга. Горько на душе было у Иосафата, так как люди колебались и сторонились его, а давнее недоверие разгоралось. Были у него свои черные беспросветные дни и ночи, когда казалось ему, что может и вправду он никому не нужен: ни Апостольской столице, ни Патриарху Рима, ни родному народу. Что будет, когда папа действительно оставит помыслы об унии? Пришлось бы идти разве что в пустыню, так как не было бы ему места ни в каком церковном обществе; ведь не перешел бы он в латинский обряд, и не смог бы уже вернуться в православие. Может он только мечтатель, которому приснился неосуществимый в этом мире сон? Были у Иосафата тяжелые дни, черные часы. Но он крепился и мыслью возвращался в первую свою виленскую келью, – не грусти, Иосафат! Единство Тела Христова, единство Церкви – без оглядки на границы, обычаи, литургии и традиции – это Божье дело, праведное, справедливое, а все остальное – людское, мелочи. А если ты себя Богу вручил, так и не суетись, не убивайся. Ведь души же своей не поменяешь – не латинская она и не православная. Иди до конца своей дорогой.

И шел ею, хотя иногда действительно было очень тяжело. Вот начал также и в Витебске восстанавливать кафедральную церковь. На время ремонта нужно было разобрать и вынести иконостас. В городе начались волнения: Кунцевич церковь на костел переделывает, выбросил иконостас! Хотя иконостас вернулся на свое место, но никто из тех, что кричали, не пришел и не сказал: «Владыка, нехорошо мы о тебе думали, а оказалось, что это неправда. Извини». Никто не пришел.

В какой-то день впервые в жизни подумал – то, о чем прежде молился в монашеских молитвах,

венец славы, может и вправду заслужит – может быть действительно придется голову сложить за единство Божьей Церкви, поскольку он от него не отступит. И как-то совсем не боялся смерти. Сам себе говорил: если это случится с тобой, будет жертва твоя чиста. А что Бог с ней сделает – не твое дело. Нужно Ему довериться.

Не думал он раньше, что придется идти ему к своей жертве сквозь жалобы, письма, протесты, листовки... Когда находился в Варшаве, пришел в Витебск слух, что он сменил обряд и униатскую церковь в латинство переводит. А вскоре и листовки разбросали. Узнал об этом епископ, и через русинского гражданина, витебского кальвиниста, Григория Бонецкого, передал письмо, что это неправда и клевета. Но Бонецкий не только писем не передал, но еще и сказал, что собственными глазами видел, как Кунцевич служит уже латинскую Литургию.

Положение Иосафата было таким, словно по болоту ходил: зелено, сверху трава буйно растет, кажется, и конем проедешь. Но встаешь ногой, зеленый покров прорывается, болото булькает, и нога – хорошо, если только по колено, – проваливается.

Не так было в первые месяцы и годы, не так. Но тогда еще не было у него противника – второго полоцкого архиепископа, не было и такого разобщения.

Зимой 1623 года сейм опять должен был рассматривать униатско-православный вопрос. Король назначил комиссию из 5 сенаторов и 9 послов под председательством примаса Гембицкого: может, удастся провести совместный синод православно-униатский, может, получится федеративным способом объединить обе стороны под одним патриархом?.. Но каким? Не дало это результатов, так как и не могло дать, и снова вопрос отложили. Напряжение нарастало. Произошло фактическое разделение: Галиция, Волынь, Киев и Подолье были практически полностью православными, и Феофановские епископы, вроде бы все еще нелегальные, беспрепятственно властвовали здесь. Холмщина, Подляшье, Полесье, Северская Украина и Смоленск были разделены, но с явственным преимуществом униатов, имевших помощь из Вильно и с Беларуси. Кунцевич, в частности, был для православных солью на ране, хотя и было у него столько забот.

Авторитет Смотрицкого очень вырос благодаря его писательскому таланту. Конец вредительству Унии! Конец латинским еретикам и иезуитам. Бог услышал молитвы православных людей, и православные патриархи Востока дали ему законных пастырей. Славное запорожское войско стоит на защите православия. Король и сейм только и думают о том, как церкви и монастыри отобрать у униатов и передать православным. Униатская иерархия трепещет и только и думает, как избежать гнева. Они открыли карты, переходят в латинство. Латинский душехват Кунцевич уже служил в Варшаве по латинскому обряду, есть свидетели, видевшие его в латинских одеждах, в латинском костеле. Пришла пора навести порядок, а кто будет сопротивляться – на все четыре стороны его, вон – вместе с узурпатором Иосафатом! Я, Смотрицкий, законный владыка полоцкий и витебский!

Сохранились эти письма и листовки, написанные с литературной точки зрения прекрасно, исполненные огня, широко распространявшиеся в городах и селах, по церквям и площадям. Витебск, Орша, Мстиславль, а частично и Полоцк верили Смотрицкому, выходили из послушания.

Еще в 1621 году, когда Кунцевич вернулся с сейма, застал свои труды в руинах. Эмиссар Смотрицкого в Полоцке, Сильвестр, убежал теперь из Витебска, но церкви стояли пустыми, а на Кунцевича сыпались угрозы и оскорбления.

Не убежал. Не спрятался. Слово ничего не произошло, совершал Литургию, выступал публично, проповедовал в церквях, как и раньше, опровергал ложь и клевету, посещал людей. Полемицировал с утверждениями Смотрицкого. Провел, словно ничего не случилось, поездку по всей епархии. И удивлялся: села были спокойными. Те же самые настоятели, простые бедные люди, которых он не раз обличал за пьянство и невежество, но нередко и защищал от панского произвола и помогал, оставались с ним.

Витебск отпал: городской совет признал Смотрицкого, отобрал у униатов церкви, многих выгнал из города. Позже отпали также Орша и Могилев. Поехал туда, хотя это было безумным начинанием. Не хотели его даже слушать. Поехал еще и в Витебск. «Чуть не убили отца-владыку: сам воевода и староста наш с отцом-владыкой были в большой опасности».

Потом толпа ворвалась в церковь, побила слуг и священников, ограбила сокровищницу. Только перед Иосафатом остановились, будто бы стена там была.

Не уступал. И все-таки случались и успехи: его самый непреклонный противник в Полоцке, православный руководитель мятежа, Иван Терликовский, первым протянул руку к согласию, признал свою вину, а его – своим пастырем. Кунцевич не был мягким, но заплакал от радости. Медленно, с трудом, день за днем, действуя терпеливо и непрерывно, возвращал себе снова полоцких людей. Тех покоряли его мужество и решимость. Ясно было, что хоть что случись, а владыка не уступит. Не отойдет.

Самуил Мирский, браславский судья, сам видел, как на речной переправе в Иосафата стреляли. Под Оршей стрелял в него шляхтич Масальский.

12. Пришли к нему и два письма канцлера Льва Сапеги, гневные и острые, полные поучений и обвинений: совершает-де Кунцевич насилие, отбирает у православных церкви, силой загоняет в Унию, обижают. Упрекал его также канцлер, что не считается с современными политическими условиями и государственными интересами, что раздражает людей, что слишком неуступчив, что максималист, что не хватает ему мудрости. Выходило со слов канцлера, что Уния для государства не только не нужна, но и вредна.

Знал владыка хорошо Льва Сапегу: праведный то был и справедливый человек. Да и Сапега знал его давно и относился с приязнью и доверием. И до сих пор неизменно поддерживал Унию. Так откуда это?

Известно, откуда. В первую очередь, из-за жалоб со стороны православных, а точнее из-за их методов. Методы те были очень простыми, даже гениальными: бить и плакать. Бить и кричать, что того, кто бьет, обижают. Не было это ново, но никогда еще не имело такого широкого применения. Не было это глупо, так как в основе этого лежало глубокое практическое знание человеческой природы. Люди не злы от природы, и каждый легко верит другим, а человек, даже образованный, в глубине души более или менее простодушен. Никому и в голову не придет, что можно бить и кричать. Если кто-то кричит, то значит, что его обижают, ведь никто же не кричит без причины. Это во-первых.

А во-вторых, люди устают. Если долго и настойчиво выкрикивать одно и то же, посторонний человек, слушая, устает, теряет терпение и желание разбирать дело, искать истину. Со всем согласится, лишь бы наступил покой. Лишь бы, в конце концов, больше не кричали.

Такие методы приносили результаты. Все суды, трибуналы и канцелярии были завалены жалобами православных на несправедливости, на то, что у них отбирают церкви и верных, творят над ними насилие и другие недостойные деяния совершают. Выезжали судебные комиссии, звали свидетелей, один говорил так, другой иначе, дело откладывали, все уставали, и, наконец, приходили к выводу, что не было бы мятежа, если б не было Унии.

Не думал Сапега, что именно Уния могла в будущем стать для Речи Посполитой щитом, который уберет бы ее от проникновения и вмешательства северного соседа. Укорял Кунцевича за то, что возбуждает в людях враждебность.

Иосафат тоже не мог знать будущего. Он тоже хотел мира, но не любой ценой, и, особенно, не ценой отступления от истины. Бог свидетель, что он всегда раскрывал объятия тому, кто хотел с ним говорить о вере и истине. Но он был католическим епископом Русинской Церкви. Для того его поставили, на то он приносил присягу, чтобы защищать и проповедовать Божью истину, не взирая на время, не взирая на то, нравится ли это кому-то или не нравится, как учил Апостол. Не сомневался, что, действуя так, служит Богу и единству Церкви, добру Речи Посполитой и королю, даже если кто-то думает иначе.

Что еще могло за этим стоять? Ее могли храниться личные обиды, дремавшие в забвении. По правде говоря, еще в Вильно, когда архимандрит Кунцевич восстанавливал женский монастырь Святого Василия, одна монахиня, из Сапегов, впала в истерику и сильно поругалась с ним. И, когда крики не умолкли, и у монахини случился припадок (присутствующие думали, что вселился в нее злой дух), Кунцевич, не взирая на ее происхождение, своим наказанием вразумил ее. Может, и это вспомнил Сапега, когда был в плохом настроении и поглощен заботами.

Был еще и казацкий вопрос, чрезвычайно важный. Сапега был вельможным паном и приходилось ему, как и другим, на сейме приветствовать шляхтичей из числа казацких старшин. Казаки стояли за православие и против унии. Сапега был политиком и знал: эта сила растет над Днестром и нужно искать согласия, чтобы не случилось беды. Был он к тому же честным человеком, знал, как польская Речь Посполита платила казакам за кровь, пролитую в боях, и не нравилось ему это. Что-то им все-таки надо дать. Не эти ли два письма к Кунцевичу? Их нельзя считать даже слабой компенсацией. Но, по крайней мере, его самого видели скорее посередине, а не с одного края: ибо до сих пор все считали, что канцлер литовский всегда за Унию, и даже есть у него за это похвальные письма от папы. К чертям политику!

Кунцевич отвечал спокойно и достойно. 22 апреля 1622 г. писал в письме: «Перед Богом, который знает мое сердце и дела, свидетельствую, что я никаким недостойным деянием не отталкивал от себя жителей Полоцка и других моих прихожан. Не найдете ни малейшего признака моей жестокости, которая мог бы стать приводом к разжиганию враждебных настроений у людей. Мою власть и пастьерскую любовь я всегда старался и стараюсь согласовывать с Божьей волей... Это засвидетельствуют многие люди, не только католики, но и еретики, честные граждане моей епархии. Это касается и священников, что мне подчинены... Никогда такого не было, чтобы я силой кого-то обращал в Унию. Защищать по закону мои церковные права, когда стремительно наступают на меня, обязывает меня обычная моя

присяга. И это я тоже делаю скромно и чутко по примеру св. Амвросия и св. Златоуста, которые вели борьбу в защиту истины Божьей... Какой это будет мир, если он заключен, но при этом оскорблен Бог? На какую безопасность может надеяться отчизна, если вопреки справедливости разрешает казакам и псевдовладыкам то, чего они хотят, то есть завладеть нашими столицами, подчиниться цареградскому пастуху, да еще и поддерживать связь с таким могущественным вражеским государством, как Турция? Откроются ворота перед шпионами и предателями из государства турецкого в государство короля нашего».

Никто не может быть свидетелем в своем собственном деле. Свидетели, однако, пришли уже поздно. Когда потом рассматривали дело об убийстве, мало было сказать: «читал я в листовках» или «сказали мне»... Надо было положить руку на Евангелие и поклясться собственной душой и спасением, а ложная клятва – вещь страшная, как для католика или православного, так и для кальвиниста или еретика. Тогда ничего и не осталось от прежних жалоб на несправедливость, насилие, насильственное обращение в униатство, на беззаконие, или хотя бы дурное слово или несправедливую обиду.

А ведь кроме вызванных на допрос, мог придти каждый и свидетельствовать, чтобы объяснить, по крайней мере, причину убийства, если она была, и, таким образом, уменьшить вину подсудимых. Ничего тогда не осталось из того, в чем Кунцевича ранее так резко обвиняли. Выслушали в те дни и множество православных. Они, когда их спрашивали о причине убийства, тоже, положив руку на Евангелие, говорили: «По правде-то, убили его за Унию. За то, что Церковь русинскую объединял с католической Церковью, что с латинниками дружил и к этой дружбе людей привлекал, и неизвестно какой из этого мог выйти вред для нашей Церкви». Такова была причина. Сам по себе был Кунцевич человеком честным, церковным, ничего против него не имели. Только то, что униат. Всегда жалели, что он не с ними.

Но это станет ясно позже. А пока что Кунцевич писал, оправдываясь, письма ко Льву Сапеге, одно и второе, хотя и не без грусти. Когда в тебе кто-то увидел черта, то как ему доказать, что плохо видит?

Обстановка вокруг Кунцевича была такой, что ему надо бы в мышь нору спрятаться, притаиться за стенами палат епископских, а в церковь ходить с вооруженной охраной, в окружении стражи с бердышами. Так ему и советовал кое-кто делать, пока ситуация не изменится. Если не захочет и не сможет этого сделать, то останется один. С одним только Господом Богом, а что уже Он захочет, то и случится.

Никогда раньше не чувствовал он так ясно, что действительно находится в руках Божьих. Рассмотрев ситуацию внимательно, по-человечески, приказал, чтобы в полоцкой кафедральной церкви, рядом с алтарем, приготовили для него могилу, и следил, чтобы хорошо и аккуратно сделали это. Всегда искренне уважал он простых людей, которые, предвидя свой отход, готовили себе гроб, принимая будущее спокойно, без страха, криков и протестов, и заранее ставили его в уголке, чтобы меньше было потом хлопот. Делали это так, как готовят колыбель перед рождением ребенка. Человек рождается, человек умирает. И одно, и другое – обычная вещь.

А если он умрет за свою веру, за единство Тела Христова, – то большая это честь и слава. Так что и могилу устроил в святом месте, рядом с алтарем. Может Бог простит, что так рвется вперед – первый и последний в жизни раз.

13. Не поехал Кунцевич в 1623 году на сейм в Варшаву, хотя там опять в повестке дня стоял униатско-православный вопрос. Он помнил о губительных последствиях своего отсутствия в Беларуси два года назад. Поехал зато в Руту на василианский капитул, который созвал Рутский на два года раньше, приняв во внимание положение Унии. Уехал до его завершения, и поэтому нет его подписи на итоговых документах. Рутский, истощенный болезнью, планировал для себя в 1624 году годовые духовные упражнения и отдых.

Потом побывал еще в Новгородке, тоже по вызову Рутского. В октябре выехал в Витебск, над которым висела самая большая угроза. Очень не советовали ему осуществлять эту поездку, говорили ему прямо, что на смерть едет, хотели дать воинскую охрану. Отказался. Выехал с о. Лецковичем, Ушатским, Околовым, Краевским, Досовским и Кантакузином, а также с несколькими челядинцами.

Ложь, будто трагедия, случившаяся 12 ноября 1623 года была результатом спонтанного взрыва гнева горожан, как об этом твердили защитники православия, в частности, тот, кто написал, что «выведенные из терпения жители Витебска бросили его в Двину». Еще со времени незаконного восстановления православной иерархии, то есть уже много месяцев, систематически подогревались враждебные настроения, не брезговали и очевидной ложью, чтобы довести людей до кипения. Руководящим центром было виленское братство Святого Духа, которое также оказалось в новом положении, когда Мелетия Смотрицкого, имевшего там свою резиденцию, посвятили в православного полоцкого архиепископа. Думали поначалу, и сам Смотрицкий надеялся, что Кунцевича можно будет изолировать: закрытый в стенах своей полоцкой резиденции, он был бы практически лишен свободы. Предполагали, что он тогда

уедет, и останется ему только титул на память. Когда же оказалось, что Кунцевича не удастся изолировать, а об отъезде он и не думает, то неизвестно когда и где был вынесен приговор, о котором Смотрицкого не уведомили, считая, что в таком деле он должен остаться в стороне. Приговор этот не был следствием неожиданного гнева, а скорее плодом холодного расчета и тщательно построенных планов. Ни в канцелярии Сапеги, ни в канцелярии Кунцевича стены не были непроницаемы. Люди знали о письмах канцлера, из которых следовало, что, по его мнению. Уния для государства не полезна, а даже и вредна. И уже совсем не важно было, являлось ли это мнение искренним выражением его убеждений, или же элементом сиюминутной политической игры в сложной государственной ситуации, а может и свидетельством усталости и плохого настроения. Что написано, то написано. Можно было догадываться, что реакция власти будет слишком сильной. Принимая во внимание папу и короля, власти покажут какие-то признаки гнева, вероятно, снимут несколько голов, если их владельцы позволят себя поймать. А пользы, казалось, было больше, чем риска. Ведь, не в обиду Рутскому говоря, Кунцевич является все-таки самым способным, самым деятельным и влиятельным униатским иерархом, которого нелегко кем-либо заменить. Рутский дал униатам организацию и науку, но Кунцевич дает им дух и ревность, он также служит воспитателем и учителем монашеского и приходского духовенства, и он поднимает церкви. Когда его не станет, падут духом униаты, и каждый дважды подумает, стоит ли оставаться в унии. И страх их охватит, что сила на стороне православия. Буря отшумит, а поле для невоссоединенных станет во много раз просторнее.

Лучше всего было бы, если бы сам Кунцевич дал какой-нибудь повод для мятежа. Поэтому со дня его прибытия в Витебск на речной переправе постоянно находился Илья Давыдович, священник, который вышел из Унии, и ругал архиерейских слуг и самого архиепископа. Однако эти провокации не давали желанных плодов, так как Кунцевич приказал пропускать их мимо ушей.

Покушение было назначено на воскресенье 12 ноября вне зависимости от того, будет ли какая-нибудь причина, или нет, а сигналом должен был стать набат с ратуши. По этому сигналу всегда собирались все жители Витебска с оружием, у кого какое есть, хотя бы и с палкой. День, казалось, был хорошо выбран, так как воеводы не было в Витебске, он выехал в свое имение. Руководители заговора, Наум Вовк, Семен Неша и городской нотариус Григорий Бонецкий, симпатизирующий кальвинистам, уехали еще в субботу, чтобы создать себе алиби, а все дело оставили доверенным лицам, которые должны были действовать в собравшейся толпе – ведь известно, что отдельное дерево легче всего теряется в лесу.

12 ноября, ранним утром, как всегда в воскресенье, кафедральный колокол позвал к заутрене, и Кунцевич со своим архидиаконом Дорофеем пошел в собор служить утреннюю службу. Совершая ее – а пел он в тот день, как говорили собравшиеся, так хорошо, как никогда прежде – не знал, что в это время его слуги, не совладав с собой, схватили попа Илью и заперли его на епископской кухне; другие утверждают, что это повелел сделать архидиакон Дорофей, когда оный Илья, придя на площадь перед церковью, начал оскорблять архиепископа. Так или иначе, Илья оказался в кухонной «тюрьме», и тогда сразу же зазвучал набат на ратуше. Кунцевич вышел из церкви перед окончанием утрени и шел в свои палаты. Ворота, что вели во внутренний двор, были закрыты, а палаты епископские, находившиеся напротив церкви, были окружены толпой. Начался рассвет, небо было укрыто полупрозрачными облаками, поэтому солнце поднималось в красном зареве, так что казалось, будто бы небо пылает. Раззадоренная толпа, стоявшая между дворцом и церковью, требовала смерти епископа. Когда же Кунцевич вышел из церкви, люди перед ним расступились, и ни одна рука не поднялась. Теперь уже все церковные колокола били тревогу.

Кунцевич приказал немедленно освободить Илью из этой кухонной тюрьмы. Если бы дело было только в Илье, то инцидент был бы исчерпан. Но дело было не в Илье Давыдовиче. Толпа затихла, и кто-то начал отдавать приказы. Сняли и порубили ворота дворца, прозвучали первые выстрелы. Челядь и люди, сопровождавшие Иосафата, разбежались кто куда, по сеням, по комнатам. Бунтовщики ломали двери, разбивая их. Архидиакон Дорофей после этого дня оказался с восемнадцатью ранами на голове и сломанными костями. Пораненному Ушацкому кричали знакомые из толпы: «А ты чего с ними? Ты давно знал, что так с вами будет!»

С Иосафатом остался только пожилой кафедральный пономарь Тихон, так как Иосафат, ни на что не взирая, хотел подготовиться к Литургии. Когда начали трещать ворота, прервал приготовления и перешел в другую комнату. Там пал ниц и молился. Потом поднялся и вышел к нападающим. Встал перед ними, закрывая за собой дверь. Совершил над ними крестное знамение и сказал:

– Дети, почему бьете мою челядь? Не убивайте их. Если есть у вас что-то против меня, то вот он я.

И сложил руки на груди. Ушацкий, тяжело раненный, но в сознании, находился рядом, лежа при нем слева. Наступила полная тишина, у людей опустились руки. Но из боковых открытых дверей вышли два человека с застывшими лицами и неподвижными, как у слепых, глазами. Один ударил Иосафата палкой,

другой топором разрубил ему голову.

Вытащили его из сеней во двор, а там толпа, увидев, что случилось, словно сошла с ума: стреляли в убитого из самопалов, пинали ногами, топтали... А были в толпе и женщины, и дети. Поднимали мертвое тело на ноги и кричали: «Не воскресенье ли сегодня? Нужно тебе, архиепископ, говорить проповедь!» Тащили тело через двор и через кладбище, разрывая на нем одежду. Был в старой василианской рясе и заштопанном белье поверх власяницы. Кто-то крикнул:

«Стойте! Разве это архиепископ? Архиепископы так не одеваются. Может его не было в палатах? Подменили кем-то похожим на него, каким-то нищим монахом».

Приволокли из дворца побитого Григория Ушацкого, который все еще был в сознании. Приказали ему поклясться: «Кунцевич это, или нет?» - Ушацкий подтвердил, что не могло быть никаких сомнений. А относительно одежды, то всегда так и ходил, и никак иначе.

Затащили тело на пригорок над рекой и сбросили вниз, на берег. Здесь содрали с него и власяницу и, наполнив ее камнями, привязали к шее. К ногам тоже привязали камни. Посадив в лодку, отвезли на несколько верст от Витебска, на глубину, и там бросили в воду.

А в это время крушили и грабили епископские палаты. Вынесли оттуда все, что можно было сдвинуть с места, печи разрушили, уничтожили церковные документы, грамоты о дарении церковных имений, – все. На ногах оставался только сторож Андрей, хотя и сильно избитый. Кантакузина какие-то милосердные люди понесли к городскому хирургу, архидиакона Дорофея взяли под свою опеку витебские евреи: спрятали у себя и дали лекарю 10 флоринов, чтобы позаботился о нем получше.

Случилось, таким образом, то, что должно было случиться, но уже к полудню оказалось, что здесь что-то не так, как должно было быть. Умолкли колокола, бывшие тревогу, но ни один колокол не звонил о победе, о радости, а во всем городе, ни в одной церкви не нашлось ни одного священника, что отважился бы начать Службу Божью. Ворота церковей были наглухо закрыты, как и ворота латинских костелов. Витебск выглядел так, словно после чумы: пустые улицы, площади, закрытые ставни, тишина. Руководители заговора, вернувшись к вечеру в Витебск, не узнавали людей. Да и люди смотрели на них, словно на чужих, отворачивались. Среди ночи послышался крик на каком-то дворе: повесился тот, кто первым ударил Иосафата.

Ночью отправились из Витебска гонцы и курьеры с известиями. Ночью же стали убегать из города виновные. Утром начали действовать городская и замковая судебные комиссии, советники стали проводить аресты, писать протоколы. Ноябрьский день наступил очень серый, под небом, затянутым низкими тучами, моросил осенний дождь.

И дальше происходили необычные вещи. По одному, по двое и по трое, а позже уже группами шли люди к Двине. Стояли по берегам и смотрели в темную осеннюю воду. Было их все больше и больше. Потом несмело выплыли лодки, люди с неводами, с баграми. Искали на дне, тянули сети. По берегам уже людей было много, как муравьев. И тишина. Так прошло пять дней, а на четвертый огласили награду - сто флоринов тому, кто найдет тело. На шестой день нашли и вытащили.

Был избытым, с раной в разрубленной голове, совсем нагой, с привязанной к шее власяницей, наполненной камнями. «От природы был смуглым, а теперь белый», – признался свидетель, Иван Ходыка. Бледным был Иосафат, но ни капельки не изменился, что было удивительно. Витебский шляхтич Храповский прикрыв это голое тело ковриком. Кто-то сказал, словно с надеждой: «А может это не он?»

Второй ответил: «Ты хотел бы, чтобы не случилось того, что случилось? Это все-таки Кунцевич. И ты знаешь хорошо, что это он».

Был среди толпы виленский мещанин, православный, который приехал по купеческим делам и по случаю пришел сюда. Он проговорил, словно бы в воздух, ни к кому не обращаясь:

– Витебчане, вы убили прекрасного человека.

И сразу же кто-то, стоявший рядом, зарыдал. Прервалась тишина, и плач стал всеобщим. На лодке привезли тело к епископским палатам, а там сплели из лозы носилки и едва не дрались из-за того, кто будет нести. Руки возлагали на убитого. Шли рядом с ним, менялись при носилках, будто бы в этом была большая честь. А это же были те самые люди, которые еще так недавно стояли толпой и требовали его смерти. Что же случилось с этими людьми? Страх? Конечно, был страх, ибо хорошо знали, что произойдет: будет суровый суд за убийство. Но если бы это был только страх, то разбежались бы все те, кто был у дворца. Русь широка, Москва близко, Украина недалеко, не так тяжело спрятаться. Смотрицкий не иглолка, значительный человек, но как уехал из Вильно после убийства Иосафата, так долго никто и не знал, где он. Толпа перед дворцом была многотысячной, но всего несколько десятков убежало, другие остались. Когда же разнеслась весть, ни один православный епископ Феофанового посвящения не усидел на своем месте, разбежались, попрятались, хотя в Украине, на Волыни, были в полной безопасности, ничто им не угрожало. Мертвый Кунцевич встал над Церковью.

Прекратились жалобы и листовки, и никогда еще столько народа не присоединилось к Унии. Должен был страх охватить униатов. Не только не охватил, а даже наоборот: люди чувствовали себя будто бы возвышенными и утвержденными. Словно новая жизнь начала свой путь благодаря этой смерти. Словно огромное солнце взошло над колеблющимися и рассеяло тьму.

Тело перевезли в Полоцк. Когда несли его из замковой церкви в Витебске к лодке, то опять жители Витебска растолкали полоцкую делегацию. Убийцы плакали, просили у Бога милосердия, а у Иосафата – заступничества. В процессии шли и кальвинисты со своим пастором, и евреи большой толпой, помня, что Иосафат всегда говорил с ними доброжелательно, без напыщенности и презрения.

Когда вскоре началось беатификационное следствие, еврейская витебская община настойчиво требовала права принести и свои свидетельства и, хотя такое в Церкви никогда не практиковалось, ей дали эту возможность. А православные? Не было в Витебске почти никого, кто теперь не считал бы Иосафата своим законным пастырем.

Сразу же на следующий день Двина замерзла.

Очень долго лежало тело Иосафата посреди полоцкой кафедральной церкви, так как народ толпился вокруг и не давал похоронить. И так лежало оно совсем не меняясь, даже более красивое, чем при жизни. Об этом свидетельствовали пан Тышкевич и многие другие. Архиепископом-митрополитом полоцким стал Антон Селява, василианин, ученик Иосафата.

9 декабря Сигизмунд III назначил комиссию для рассмотрения витебского дела и дал ей все полномочия. В ее состав вошли: Лев Сапега – председатель, витебский воевода Самийло Сангушко, мстиславский кастелян Криштоф Соколинский, нотариус Великого Княжества Литовского Александр Госевский, Александр Сапега из Орши и Николай Завиша из Полоцка. Комиссия прибыла в Витебск 15 января 1624 г. и приняла в свой состав еще 8 членов из местного населения. Были также на следствии представители митрополита Рутского и полоцкого капитула, придворные и челядь Иосафата, видевшие трагедию. Процесс длился до 22 февраля 1624 г. и был описан как «черные дни Витебска».

Лев Сапега оставил всякую дипломатию и забыл о политических интересах. Он вел себя так, будто бы убили его родного брата и это его собственное дело, его собственная смертельная рана. Сдержанный и холодный, с неподвижным лицом, он заботился о справедливом суде, никого из свидетелей не отводил, выслушивал каждую показание в чью-то защиту, заботясь о том, чтобы не пострадали невинные. А впрочем, Бог знал, что на сердце у него лежал словно холодный камень. Сурово судил. Смертная кара пала больше чем на двадцать голов, в том числе на Наума Вовка и Самийла Нешу, советников. Другие, участие которых в нападении, убийстве, издевательствах над убитым и грабеже было доказано без всякого сомнения, своевременно сбежали еще ночью после кровавого воскресенья. Таких было 75. Их заочно осудили, и, если бы их схватили, должны были лишиться головы. Схватили ли кого-нибудь из них – неизвестно. Тех обвиняемых, чья вина не была доказана, освободили.

Достоин внимания, что все осужденные, за исключением одного, приняли перед смертью Унию. Тяжело это объяснить выгодой, так как это присоединение не могло уже ничего изменить, ни в чем помочь, никакой пользы принести. Выглядело это так, словно в смерти искали милости Иосафата за то, что при жизни его не приняли.

Король в Варшаве на расстоянии, может, и правильно сказал об этом деле: дурман упал на город, и если кто и виноват по-настоящему, так это те, кто его сеял. А город виноват тем, что позволил дурману собой овладеть. Эта мысль нашла подтверждение на следствии, ибо никто не мог сказать, почему пошел, почему кричал, почему бил... У Витебска отобрали магдебургские права, разрушили ратушу, а на ее месте – как символ позора – построили корчму. Отдали Витебск под власть воеводы, отменили все налоговые льготы и свободы, сборы должны были идти в государственную казну. Город отлучили от Церкви на пять лет, с церковью снимали все колокола, за исключением той кафедральной церкви, где Иосафат пел свою последнюю утреню. Только в 1628 году, во время первого беатификационного процесса, на четвертой неделе Великого Поста, пришли все вместе с воеводой к епископским палатам, где работала апостольская комиссия, и, вызвав ее, просили у Антония Селявы епитимии и разрешения. Епископ назначил исповедников и снял анафему. А городские права возвращены были только в 1641 году за военные заслуги.

Тем временем, 22 февраля 1628 года подписали приговор. Нет в нем подписи воеводы Сангушко, который заявил, что ему, как лицу, получающему под свою власть униженный город, не годится подписывать приговор. Это был красивый жест. Говорили, что Сапега перегнул через край. Может быть, и судил слишком сурово. Никто не знает, что творилось на душе у этого человека. Еще не так давно обвинял Иосафата в жесткости, слишком твердой руке, неуступчивости и нехватке милосердия. А ведь Иосафат, живя в Полоцке или в Могилеве, или где-нибудь еще, не обращал внимания на обиды и оскорбления, а жалобы на него – Сапега хорошо это знал – не опирались на факты, его же собственные укоры были

безосновательными. А теперь он – судья... Ему, собственно, было как будто стыдно перед Иосафатом, что тогдашние его упреки епископу расходились с правдой. Если бы они были правдивыми, то, возможно, у него, виленского воеводы и канцлера, не было бы теперь такой каменной твердости и холода. Если бы Иосафат хоть частично был виновен, Сапеге легче было бы проявить милосердие и жалость.

В униатской полоцкой кафедральной церкви Лев Сапега отдал себя и свою семью под покровительство того, кто лежал под могильной плитой. Но не отважился сказать: «Я ошибся». Сказал иначе – «Прости!» – и своей стриженной головой коснулся камня.

Не много лет прошло, и сын канцлера, Лев-Казимир Сапега, положил тело Иосафата в чистого серебра саркофаг гданьской работы.

30 апреля 1624 года конгрегация «Пропаганды веры», ознакомившись с документами, что переслал Рутский, предложила начать беатификационный процесс Слуги Божьего Иосафата Кунцевича, униатского архиепископа Полоцкого. После большого числа слушаний и допросов 16 мая 1641 года был провозглашен декрет о беатификации, подписанный Урбаном VII. А канонизационный декрет подписал Пий IX 29 июня 1867 года.

14. Пусть простит меня святой Иосафат, что, описывая кратко эту историю, я ни единым словом не упомянул его чудеса, которых много случилось с того дня, когда в полоцкой кафедральной церкви на глазах многотысячной массы народа известный всем Петр Даныковский, давно потерявший зрение и передвигающийся с поводырем, протиснулся к Иосафатовому гробу, где лежала и власяница мученика, наполненная камнями. Когда с верой и надеждой потер ее краешком свои слепые глаза, раз, второй, третий – прозрел.

Пусть простит меня Иосафат Кунцевич, что я о чудесах этих не пишу.

Но, думаю, этот рассказ не будет полным, если его не завершить удивительной историей Мелетия Смотрицкого, православного полоцкого архиепископа, противника Иосафата. То, что произошло с ним, несомненно, не чудо, но все же это чрезвычайно удивительно.

Резиденция Смотрицкого, как было уже сказано, находилась в Вильно, в монастыре Святого Духа. Когда в Витебске убили Кунцевича, он от потрясения не мог опомниться, ни о какой радости не могло быть и речи. Чувствовал себя так, словно поднимаясь по лестнице, внезапно упал, оступился, потому что сломалась ступенька. С каждым днем становилось хуже. Кровь убитого взывала к нему из земли.

Взывала главным образом к его совести, так как чувствовал себя прямо во всем виновным. Это он воевал против Унии постоянно и неустанно... Это его, Смотрицкого, книги и писания превратили страну в кипящий котел... Действительно ли он верил, что Кунцевич предатель и враг Церкви? Может, и верил... Но почему врал, что Кунцевич стал латинником и в Варшаве Церковь латинникам продает? А ему поверили и, двигаясь к архиепископским палатам, могли думать, что делают добро. Кунцевича убили. А он, Смотрицкий, сидел все это время в безопасности и писал, писал, писал... И все время ему казалось, что у него чистые руки. Если же убийцы теперь лишатся голов, то из-за него. Сколько же смертей! Да, такое нельзя изгнать, стереть из памяти. Он виновен. Виновен, виновен...

Также думали втайне и жители Вильно, даже православные. Здесь тоже дурман угас и, хотя и дальше оставались православными, но видели непривлекательную и тяжкую правду – что по вине Смотрицкого погиб Кунцевич. Какая-то пустота образовалась вокруг Смотрицкого, и лица прежних друзей были неискренними.

Кровь Иосафата взывала и к его разуму. Мало в мире тех, кто готов умирать за правду, и уж никто никогда не видел желающих умереть за ложь и неправду. Кунцевич добровольно пошел на смерть. Так как же выглядит дело, если правда была на стороне этого униата?

Смотрицкий был интеллектуалом. Был из тех, кто не привык уходить от неприятных вопросов. Получал образование в западных университетах и католицизм не был для него объектом суеверных тревог или необдуманного отрицания, а единство Церкви не обязательно было для него лишь темой хитрых интриг, как многие думали. Он любил Церковь, да, – но любил и свободу мысли. Еще в виленском василианском монастыре написал две книжечки – «Палинодию» и «Об исхождении Святого Духа», которые церковные братства приказали сжигать, как слишком благосклонные к латинникам и зараженные «католичеством». Смотрицкий оставался православным, но был теперь неспокоен, чувствовал себя униженным и уничтоженным смертью Кунцевича.

Уехал из Вильно, появился в Киеве. Хотел искать истинного православия, хотел восстановить равновесие души. Но это скорее Киев искал у Смотрицкого именно того, чего ему сейчас не хватало. Митрополит Иов Борецкий, конкурент Рутского, не казался Смотрицкому такой уж неприступной скалой православия. Сам он был родом из Львова, боялся казаков, и совсем не нравилось ему, что патриарх сидит в Константинополе среди магометан. Если бы Цареградский патриарх смог и захотел заключить Унию,

Борецкий без колебаний пошел бы за ним, при условии поддержки со стороны казаков.

Смотрицкий поехал в Константинополь. Застал там на патриаршем престоле давнего своего знакомого по Острожской Академии, Кирилла Лукариса, который даже не скрывал своих кальвинистских симпатий. Нашел также изданный здесь православный катехизис, что был совсем не православным. Здесь впервые пришло ему на ум, что нужно бы перенести Цареградский Патриархат хотя бы в Польшу, а на патриарший престол посадить кого-то другого, ибо тот, кто здесь – ересиарх и не имеет права возглавлять православие.

Поехал в Иерусалим, в Святую Землю. Искал в древних монастырских книгохранилищах и находил там вещи, о которых в Европе никто и понятия не имел, ходил ночью в Масличный Сад, где под лунным сиянием стояли скрученные от старости масличные деревья и царила тишина. Страх охватил его – что, если он до сих пор был Спящим Учеником, который бросил Учителя посреди смертельной тревоги?

Убежал оттуда к своим книгам.

Хотел он этого, или не хотел, но мельница его мысли непрерывно работала. Смотрицкий пришел к убеждению, что нет существенных различий между настоящей православной верой и Западом. Что все враждебное, выросшее на протяжении веков с обеих сторон, появилось главным образом по вине людей. А также – из-за языковых отличий, непереводаемых различий в понятиях и оттенков значений, из-за трудностей в общении, из-за культурных различий, а также обид и амбиций, – и все это заслуживает уничтожения, так как все эти людские дела слишком малы и не глубоки, чтобы можно было ставить их выше единства Тела Христова.

Кунцевич никогда здесь не был. Кунцевич никогда не видел ни Константинополя, ни Святой Земли, которая действительно является Пятым Евангелием. Кунцевич никогда не сидел ни на скамьях европейских университетов, ни над теми старинными книгами, что греческим языком говорят правду о Церкви. Он был уроженцем украинско-польского пограничья, церковным провинциалом. Но это не имеет значения, совсем не имеет значения. Потому что Кунцевич был прав. Потому что правда была на стороне Кунцевича. Ведомый подлинным благочестием, большой верой и врожденной быстротой ума, – этот провинциал имел с самого начала более широкий взгляд, более вселенский кругозор и более свободный дух, чем он, Смотрицкий, со всеми своими науками. Удивительно, но это осознание не унижало его.

Смотрицкий вернулся и в 1627 году принес митрополиту Рутскому исповедание веры. Присоединился к Унии и поселился в василианском монастыре в Дермани, на Волыни.

Это было поразительно. Униаты смотрели на него, почти онемев. Скорее они могли ждать, что сам римский папа появится на Украине, нежели что Смотрицкий станет униатом, тот самый Смотрицкий, который всю свою предыдущую жизнь отдал борьбе с Унией.

А православные волком на него смотрели, обвиняя в нестойкости, в предательстве, оппортунизме, соглашательстве, в страхе.

Бояться было нечего. Речь Посполита в определенные моменты могла быть даже жестокой, а польские паны, хотя и в Парижах и Падуях смолоду воспитанные, могли идти через огонь и воду, дым и дыбы не хуже Кривоноса. Но Речь Посполита не была злопамятной – может, из-за лени, а может – потому, что таким был там обычай и образ жизни. Смотрицкому было нечего бояться. Общественное мнение видело в нем косвенно виновного в смерти Кунцевича, это правда. Если бы, однако, захотел остаться «разъединенным», ничего бы ему не сделали. Мог осесть хотя бы в киевской Лавре и свободно писать там свои книги под псевдонимом, как уже делал не раз. Ничего бы ему не грозило. Если же, кроме всего прочего, уж так сильно он боялся и из страха перешел в Унию, то мог бы сидеть спокойно в каком-нибудь василианском монастыре, и тоже бы ему ничего не грозило. Разве что показывали бы на него пальцем иногда, как на странного зверька: видишь – тот самый Смотрицкий...

А он поступил иначе. Собственным умом и собственными руками Смотрицкий стал уничтожать все то, что ранее строил. Взялся за перо. С тем же пристрастием, с тем же жаром и талантом, с которыми раньше строил стену, разрушал мосты и боролся против воссоединения, – теперь стал это единство восстанавливать и разрушать преграды. Сам с собою вел он теперь полемику, сам прежнего себя топил и рушил, даже высмеивал – без тени сожаления. Сыпались, как из рога изобилия, его труды и послания. Верно написал о нем епископ Туша: «Савл и Павел Русинской Церкви».

И действительно, был когда-то Савлом. Но мертвой рукой Иосафата Бог поверг его на землю и совершил в нем перемену. Писал он прекрасно, не зря сравнивали его с Цицероном... Не зря взывала к нему кровь Иосафата из под земли. Так встретились благодаря смерти те двое, что так долго стояли друг против друга: Кунцевич и Смотрицкий. Теперь Кунцевич был для Смотрицкого Человеком Божиим, Святым Господним, которого он чужими руками убил, а тот все равно нашел его и забрал, притянул и заключил в объятия. Ибо хотя тело Кунцевича лежало под камнем в полоцкой кафедральной церкви, он был жив. Потому что если бы не было в нем жизни, то как бы сумел одержать победу?

Известно: «душехват»!

Смотрицкий был глубоко убежден, что прекратило существовать все то, что раньше стояло между ними. Что Кунцевич простил ему сразу же. И что он радуется – там, где находится, в руках Божьих. Радуется не победе, единению. Потому что единение всегда было для него самым дорогим. Он, Смотрицкий, как только умеет и может, своим литературным талантом укрепляет теперь это единение. Лучше поздно, чем никогда... Чтобы не было разорванным Тело Христово. И чтобы Русь не уничтожала Русь. Чувствовал себя спокойно и уповал на милосердие Божье. А в Речи Посполитой – вспомним это – не нашлось ни одного латинского епископа, который бы теперь думал о конце Унии. Уния – это Кунцевич. Человека, который отдал жизнь за свою веру и обряд, кровью запечатал свое дело – не одолеть.

15. А тело Кунцевича имело свою беспокойную историю. Во время войны, в 1653 году его вывезли и прятали в разных местах Руси, Литвы и Польши. Потом вернули на место. Когда царь Петр I в 1705 году занял Полоцк, то очень старательно искал его с намерением сжечь, но гроб Иосафата вывезли тайно в Белую Подляшскую. Царь учинил погром василианам: одного убил, трех других, знавших о месте перезахоронения, велел пытать, а когда ничего не сказали, приказал повесить и тела их сжечь. Полоцкую кафедральную церковь превратил в склад. С 1764 года тело Иосафата было замуровано в замке Радзивиллов, о чем знали только три человека. В 1765 году его тайно перенесли в василианский монастырь в Белой. Там оно и лежало, а люди возле него молились, и Бог их слышал. И хотя царское правительство ликвидировало Унию, никто не осмелился тронуть этот гроб. Однако в 1864 году ликвидировали чин василиан, и культ Иосафата стал для врагов солью на рану. Хотели, чтобы люди о нем забыли, хотели убрать, закрыть это тело, но даже самые послушные православные священники не послушались приказа и не хотели трогать гроб. По приказу губернатора жандармы вынесли гроб в подземелье, засыпали песком и мусором, а вход замуровали. И сомкнулось над Иосафатом забытие, как когда-то темные воды Двины. Обманчивым было это забытие, так как во все время униатской эпопеи, когда униатов на Подляшье и Холмщине били, пытали и целыми семьями вывозили в Сибирь, люди тайком шли к церкви и, возложив руки на брошенные стены, черпали из них силу. А уста у них были запечатаны, и никто не рассказывал, за чем идет.

Нашли тело в 1916 году, а в следующем году перевезли его в Вену.

Теперь, с 1949 года, лежит оно под куполом римской папской базилики рядом с гробом св. Петра, в безопасности, если вообще есть еще на земле безопасное место.